

НАТАЛЬЯ
НЕСТЕРОВА

Жребий праведных грешниц
СТАТЬ ОГНЕМ



Наталья Нестерова
Стать огнем
Серия «Жребий праведных
грешниц», книга 2

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11816630
Жребий праведных грешниц. Стать огнем : [роман] / Наталья
Нестерова: АСТ; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-092249-9, 978-5-17-092250-5*

Аннотация

Любой человек – часть семьи, любая семья – часть страны, и нет такого человека, который мог бы спрятаться за стенами отдельного мирка в эпоху великих перемен. Но даже когда люди становятся винтиками страшной системы, у каждого остается выбор: впустить в сердце ненависть, которая выжжет все вокруг, или открыть его любви, которая согреет близких и озарит их путь. Сибиряки Медведевы покидают родной дом, помнящий счастливые дни и хранящий страшные тайны, теперь у каждого своя дорога. Главную роль начинают играть «младшие» женщины. Робкие и одновременно непреклонные, простые и мудрые, мягкие и бесстрашные, они едины в преданности «своим» и готовности спасти их любой ценой.

Об этом роман «Стать огнем», продолжающий сагу Натальи Нестеровой «Жребий праведных грешниц».

Содержание

Часть первая	5
Островитяне	5
«Анна Каренина». Граф Толстой	25
Матери и дети	41
Культура и звери	49
Правда	63
Коммерция	85
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Наталья Нестерова Жребий праведных грешниц. Стать огнем

Часть первая 1925–1926 годы

Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал.

А.С. Пушкин

Да разве найдутся на свете такие огни, такие муки и такая сила, которая пересилила русскую силу!

Н.В. Гоголь

Островитяне

Бесснежных бархатных зим в Сибири не случалось. Но в тот год намело – заплоты укутало.

Давно, еще до революции, доктор Василий Кузьмич Привалов читал в литературных журналах рассказы писателей об изнурительной русской зиме. Когда дома под крышу засыпаны снегом, окна в тесных, душных, полутемных избах оледенели, делать нечего, из-за сонной одуряющей лени все давно переругались, помирились и снова переругались, когда все сказки рассказаны-перерассказаны, сплетни, домыслы и вымыслы в самой чудовищной форме уже сто раз обмусолены, когда сельская интеллигенция, вроде учителя и фельдшера, опухла от пьянства и перестала терзаться связью с самыми низкими деревенскими бабами, когда кажется, что мир кончился и просвета не будет... в рассказах наступает весна, бегут ручьи – и жизнь, чистая, веселая и радостная, возобновляется...

Если бы Медведевы познакомились с этой литературой, они бы сказали: «Так оно в Расее, а не у нас в Сибири». Сибиряки горды и честолюбивы до ханжества.

Дом Анфисы Ивановны Медведевой с большим крытым подворьем существовал даже не в хуторной, а в островной изоляции, на самообеспечении. Дров и припасов было заготовлено столько, что до весны могли бы и вовсе не выходить за ворота. Будь ее воля, Анфиса так бы и поступила. Хозяйство, дом, семья были ее миром, а извне приходили новости большей частью дурные. К тем, что на первый взгляд казались хорошими, Анфиса относилась настороженно. Слишком часто за последние годы надежды крестьян оборачива-

лись бедами. Сибирские старожилы никогда не просили помощи у государства, только б оно, государство-правительство, не мешало жить по вековечному укладу – по незыблемым понятиям достойного неторопливого хода вещей.

Хотя Анфисин муж Еремей Николаевич был жив-здоров и именно он выстроил чудо-дом, второго такого не сыскать, их жилище односельчане называли «дом Анфисы Турции», как бы признавая ее главенство в семье.

Никто праздности не знал: мужики постоянно что-то строга́ли, чинили, ремонтировали, шили кожаную обувь, катали валяную. Женщины пряли, ткали, вязали, вышивали, чинили одежду.

Василий Кузьмич Привалов никогда не интересовался этнографией, но как врача и физиолога его поразил тот факт, что коренные сибиряки, живущие в суровом климате, практически никогда не обморазивались, не замерзали в тайге на охоте. Дело было в одежде.

Еремей Николаевич говорил: «Сибиряк не тот, кто мороза не боится, а кто умеет мороза хорониться».

Одежда была теплой и при этом легкой, не стеснявшей движения; она защищала от ветра, от попадания снега за ворот и не вызывала усиленного потоотделения. На всякую погоду: от стужева (мороза с туманом) до непроглядной метели, от буса (мелкого дождя с порошей) до сорокаградусного мороза в солнечный день – имелась одежда. Кафтаны, шубы, полушубки, тулупы были нагольные и «крытые», то есть с

холстом, дабой или фабричным сукном. Самая теплая верхняя одежда – доха – шилась из меха собак или диких животных, доходила до пят, имела широкий ворот и большой запах. В сибирской дохе, укрывшись вдобавок медвежьей полостью, можно было без опаски ехать в санях по зимнику в любой мороз. И женщины, и мужчины носили чулки – суконные, шерстяные, сермяжные; на промысел в тайгу – лосиные или сшитые из овчины; в морозы – кулемишки из собачьей шкуры. В доме Анфисы топили жарко, но по полу все-таки несло холодом, и все без исключения были обуты в легкие пимы из оленьего меха.

Весьма разумно, с точки зрения доктора Привалова, сибиряки защищали от переохлаждения конечности и голову. Зимней обуви и шапок у Анфисы имелось по два сундука и еще один с рукавицами множества видов: вареги, верхницы, волосянки, вязанки, выподки, голицы, исподки, лохматейки, шубенки...

Вся зимняя одежда была к сезону высушена, починена, обновлена.

– Твоя мать могла бы нарядить взвод солдат для зимней кампании, – как-то сказал Василий Кузьмич Нюране.

– Вы еще праздничной не видели. Ах, какая у меня соболья шубка, крытая синим сукном и стеклярусом вышитая! Но я из нее выросла, а мама новую не хочет справлять! Говорит, времена нынче скромные. Если эти времена до моей старости продлятся, так и ходить в заячьем тулупчике?

Пятнадцатилетняя Нюраня вступила в возраст, когда девушка с матерью противоборствует. Сама Анфиса в ее годы выказывала большое противление, но давно забыла о своей девичьей строптивости, о том, как подмяла под свою волю и мать, и отца. Теперь Анфисе казалось, что дочь блажит, дурыю мается, за это и получает по заслугам.

Еще с осени Нюраня на супрядки просилась. Мать не пускала, теперь супрядки не как прежде: молодые мужики, жен дома оставив, на них ходят, пацанва безусая, вдовицы легкого поведения и прочие оглодыши-переселенцы. Не компания это ее дочери! И нет пригляда, то есть надежного и подходящего человека, который, случись что, Нюранино достоинство защитил бы.

– Сама за себя постоять могу! Я не маленькая! – голосила дочь.

Но мать к ее воплям была равнодушна. Только грозила:

– Без спросу сбежишь – я с тебя шкуру спушшу и обратно не надену! Лихотит ее! В башке ветер, в заду ум.

У отца Нюраня защиты и поддержки не искала. Тятя не боится мамы, но не любит с ней связываться. Вмешивается только в крайнем случае, когда мамина несправедливость совсем уж вопиюща. Просить тятю о том, чего он не желает делать, бесполезно. Скажет что-нибудь вроде: «Не переживай, устананится». Когда? Когда ей, Нюране, двадцать лет стукнет, когда постареет?

Но был еще брат Степан, который с матерью штыками

скрещивался без опаски. К нему-то Нюраня и бросилась за справедливостью. Братка не подвел.

– Пусть Аким и Федот с ней на супрядки ходят, – предложил Степан матери и напомнил: – Ты ж сама говорила, что они, глядишь, и женятся.

Присутствовавшие при разговоре, сидевшие на лавках работники Аким и Федот, чинившие обувь, замерли с большими иголками в руках и стали похожи на скульптуры под названием «Сапожники за работой». Они-то, конечно... и всегда... любой приказ хозяйки... Но на гульбища ходить?! По возрасту Аким и Федоту пятидесяти не исполнилось, а по душе – глубокие старики, ничего от жизни не ждущие.

Пойманная на слове Анфиса прекрасно поняла по застывшим позам работников, как им «нравится» перспектива супрядки посещать.

– Дык я работникам на досуг не указчица, – ответила она сыну. – Им твоя революция как пролетариям тоже права дала. Али нет-ка?

И тут вступила Нюраня: подскочила к работникам, стала обнимать их, руки молитвенно заламывать, причитать:

– Дядечка Акимушка! Миленький дядечка Федотушка! Хорошенькие, родненькие! Пожалуйста! Ой, не дайте мне погибнуть-усохнуть, годы мои молодые загубить!

Нюраню все любили. Отец называл ее «наша солнечная соловушка». Влетит в избу – и точно светлей становится. Защебечет – и, толком не понимая смысла ее девичьих трелей,

все улыбаются. Прасковье, жене Степана, золовка напоминала ее девичьи светлые годы. Марфе, супруге второго брата, Петра, мечты навевала: она, Марфа, такой же беспечно-радостной была бы, пошла ей судьба других родителей. Петр, которого сестра была на несколько лет младше, воспринимал Нюраню отчасти как мать, только не строгую-неприступную, как настоящая мать-Анфиса, а ласковую, дурашливую и по-доброму насмешливую. Отец и Степан, видя Нюраню, слухом и взором наслаждались, как наслаждаются ростом-взрослением певчей птицы. В то же время они понимали: не будь ежовых рукавиц, в которых Анфиса держала дочь, из той вполне могла бы вылупиться капризная своевольница. Всех устраивал расклад: они Нюраню балуют, а мать в строгости держит. Никому не приходило в голову, что баловать легко, а строжить душевно растратно.

– Ну-дык, я чего... я не против-то, – сказал Аким.

– Ежели не часто, – согласился Федот.

– Ура! – запрыгала Нюраня.

В ней было столько энергии, что прыгала она, точно молодая коза, по любой радости.

Степан победно посмотрел на мать: моя взяла. Анфиса пожала плечами: по моему допущению. В противостоянии матери и сына компромиссы были редки и нисколько не сглаживали главных противоречий.

Так и повелось, что на супрядки Нюраню сопровождали Аким или Федот, по очереди. Нюраня сбивала каблуки сапо-

жек в танцах, хохотала в играх, а кто-то из работников сидел в углу, дремля одним глазом, а вторым наблюдая за происходящим. Молодые и особенно средних лет бабы, которых в Погорелове был излишек – сверстников-то выкосило в войнах, революциях и восстаниях, – скоро поняли, что Аким и Федот не по амурной части. Сивые мерины, которых охолостила то ли судьба, то ли известная своей властностью Анфиса Турка.

Максимка Майданцев не побоялся Нюраниных телохранителей и несколько раз после супрядок провожал ее до дома.

Федот почему-то донес об этом не Анфисе, от которой у него секретов раньше не было и которую он слушался как верный пес, не Еремею Николаевичу, который был формальным главой семейства, а Степану:

– Майданцевский парнишка клинья под Нюраню бьет. Присмотрись.

«Из хорошего старого сибирского рода парень» – первое, что пришло Степану в голову. И тут же он ругнул себя с досадой: рассуждает, как мать, которая к людям точно к скотине относится – своих коров с какими попало быками на вязку не допустит и племенного быка Буяна не даст на спаривание с соседскими худосочными телками, чтобы породу не портили, чтобы потом никто не упрекнул, Буян-де семенем ослаб.

Вспомнилось Степану, как возникла у него много лет на-

зад, уже после службы в Красной армии, симпатия к Татьянке. Милая девушка, легкая, прозрачная. Степан увидел ее на закате. Растянувшейся толпой народ возвращался с сенокоса. И Татьянка просвечивалась, одну ее среди всех солнце золотыми лучами пронизывало. Хрупкую, точно бескостную, сотканную из воздуха. Степана всегда нежно-беззащитные девушки привлекали.

Мать чутьем своим звериным о его симпатии узнала. Он сам-то еще толком с чувствами не определился, а мать выплюнула: «Татьянкин род порченный, ее прабабка и сестра прабабки до сорока пяти не прожили, от рака груди умерли». Какие прабабки с грудями? Чушь! Он был слишком занят установлением советской власти и не заметил, что Татьянка исчезла – сосватали в соседнее село. Наверняка мать постаралась. Татьянка умерла два года назад. Первенца родила и преставилась...

Однако Прасковью матери не удалось вытравить! И не мать ему, а сам он себе выбрал суженую!

Что же касается Максима Майданцева, то в классовом понятии этот парень в правильном русле, комсомолец. В ячейке Коммунистического союза молодежи пока дюжина ребят, из них семеро парней. Степан с ними не только беседы на политические темы вел. Брал парней на охоту, все они были безотцовщина. Тайга и река сибиряка всегда прокормят, однако нужно, чтобы с молодых лет тебя обучили, как зверя бить и рыбу ловить. Но мужиков выкосило, связь поколений

нарушилась. Ходить к чужому дяде на поклон – «возьмите на охоту» – было не принято. Степан считал своим долгом не только классовое самосознание у молодежи развивать, но и прививать им достоинство, которым сибиряки всегда отличались. А достоинство без знаний и умений – одно бахвальство. Как у казаков.

Казачьих станиц вокруг много, и в них та же картина – что ни дом, то вдовицы. Казаки тоже древних родов, но полвоенных. Сибирские старожилы казаков не жаловали за их подневольность, а казаки презирали «гражданских» за штатскую расхлябанность. Но все это было на уровне слов, насмешек. Те и другие одинаково презирали переселенцев. Так вот, у казаков кичливость в крови. Парнишка от горшка два вершка, половины букв не выговаривает, порты первые ему только вчера надели, а он уже нос задирает: «Я казак!»

Когда осенью подморозило и падера (первый снежок) закружила, Степан с четырьмя ребятами-комсомольцами завалил на охоте матерого сохатого. Едва доволокли. Степан убоины себе не взял, на молодых охотников разделил. Тетя Аксинья Майданцева, бабка Максима, очень Степана благодарила, в пояс кланялась. Это ведь много мяса, его на куски порежут, в воду окунут, дадут обледенеть и в кадки сложат, снегом пересыпав, – надолго хватит. В сибирском климате без мяса никак нельзя. Майданцевым еще и шкура досталась, поскольку первый выстрел, достигший лося, был Максимкин.

Степан часто лукавил, приписывая те или иные хорошие дела новой власти.

– Не меня благодарите, тетка Аксинья, а партию. Партия нас призывает всячески поддерживать и обучать сознательную молодежь.

– Ну да, ну да! И партии спасибо! – закивала тетка Аксинья, хотя и с меньшим энтузиазмом.

– Молодежь объединится в коммунистические союзы и бодро пошагает к светлому будущему.

– А в лес она пошагать не может? Боюсь, дров до весны не хватит, придется сеник ломать.

– Будут вам дрова, – пообещал Степан.

Положа руку на сердце, он не мог бы сказать, что комсомольцы такие уж верные ленинцы. Вместо собрания с повесткой дня «Текущие политические задачи» могли побегать на супрядки. А если из комсомольцев кто-то женился или выходил замуж, те и вовсе забывали о своем членстве в РЛКСМ. Загорелись ставить комедию Гоголя «Ревизор», но после трех репетиций скисли. Женских ролей мало, всего две, девушки заскучали. Парней не заставишь слова учить, да и юмор у Гоголя несмешной.

Степан привез им из Омска пьесу «Конец мироеда» какого-то молодого революционного автора. Там фигурировали кулак, его жена и три их дочери, а также комсомольский вождь, влюбленный в одну из дочерей и пытающийся вырвать девушку из застенков контрреволюционного семейства, да

взвод красноармейцев, который периодически выскакивал на сцену, но слов не имел, как и девушки-комсомолки в красных косынках. Еще были трясущийся старик, тоже кулак, за которого отец хотел выдать дочь, и поп-пропойца в грязной рясе и с красным носом.

Отца-кулака играл невысокий круглолицый парнишка, под рубаху на живот и в штаны на задницу ему подкладывали подушки, чтобы был уродливо толстым. Его жену представляла Нюраня. Дрынношшепина (так у них называли высоких худых девушек) Нюраня была на голову выше «мужа». Говорила она визгливым противным голосом и вставляла в исходный текст слова и выражения из арсенала родной мамы. Максимка с наклеенной белой бородой изображал жениха-миroeда и так трясся «от старости», что все впокатуху падали. В финале пьесы – естественно, счастливом – все актеры выходили на сцену и пели революционную песню. Причем лучше всех пели кулак-отец, мироед-жених и поп, обладавшие хорошими голосами.

После веселых репетиций мчались кататься на санях или с горки.

Анфиса дочери еще осенью, когда комсомолцы в престольный праздник организовали антирелигиозное шествие, велела и думать забыть про комсомол. Как и большинство сибирячек, Анфиса не была истово верующей, но богохульство приравнивала к разврату. Хватит им одного Степана-безбожника! Ее дочери не место в компании, где хулят

Господа, а вместо Библии подсовывают Карлу Марксу! Поэтому Нюраня держала в секрете свои драматические занятия. Аким и Федот, сопровождавшие ее в дни, когда репетиции проводились вечером, тоже помалкивали. Что супрядки, что спектакли – их дело следить, чтобы девчонку не обидели, и до дома ее в сохранности доставить.

Премьеру планировали на Крещение. Играть будут в школе. Мама наверняка на представление не отправится, а пока ей донесут добрые соседки, еще время пройдет. Наказание за прошлое не бывает строгим, да и Степан заступится.

* * *

Зимой мужики оканчивали работы рано, когда смеркалось. Обед отодвигался и сливался с ужином – назывался «паужина». Состоял из четырех-пяти блюд. Обязательными были пироги. Вышколенным свекровью Марфе и Прасковье никогда не приходило в голову отступить от заведенного порядка: к супу из свежей капусты – пирог с гречневой кашей, к кислым щам – с соленой рыбой, к лапше – с мясом, к ухе – с морковью. Далее следовали мясо или рыба – жареные, тушеные, припущенные в печи. Во время постов Медведевы ели рыбу, которая у сибиряков не считалась скромной пищей. Питались Медведевы несравнимо сытнее, чем большинство селян, не каждую неделю позволявших себе мясо. Но для Анфисы делом чести было поддержание высокого

уровня жизни. Враньем продотрядам и прочим сборщикам податей, изворотливостью, тайными припасами в схронах, точным расчетом тех продуктов, что были на виду, она кормила девять человек в собственном доме и время от времени помогала нищим родственникам.

За паужиной следовало долгое-долгое чаепитие с пирожками, шанежками, ватрушками, вафлями, ломким сладким хворостом.

Свету было достаточно – у омского барышника Анфиса приобрела две фляги лампадного масла, да и керосину у нее была целая бочка. В горнице, у божницы, на столе стояла большая керосиновая лампа. Тут группировались мужики. На противоположном конце при свете масляных коптилок трудились снохи – вязали на спицах, вышивали, обметывали пошитую для весенне-летних трудов домотканую рабочую одежду. Урок-задание на вечер (после того как посуду вымоют и заготовки еды сделают) от Анфисы имели только Марфа и Прасковья. Мужики выбирали себе занятие по настроению, без дела никто не сидел. Хотя если было настроение подушку примять – пожалуйста! Только вечерний засыпковарен: в пять ляжешь, в семь поднимешься с тяжелой головой, чаю попьешь – прояснится, а потом всю ночь сна не будет, проворочаешься с боку на бок.

Любимой игрой были шахматы. Непобедимым чемпионом слыл Петр. В очередной раз проиграв ему, доктор вскакивал и, размахивая руками, вышагивал вдоль стола:

– Вы еще говорите, что он имбецилен!

Никто этого не говорил, и слова-то такого не знали. Но у Василия Кузьмича была привычка приписывать людям аргументы против: «А вы мне тут утверждали... А вы-то подзревали... Вы ошибались, полагая...»

– Еще партию! – восклицал доктор и усаживался за стол. – Значит, ты, Петр, приверженец сицилийской защиты?

– Гы-гы, – улыбался Петр, расставляя фигуры.

Много лет назад их вырезал Еремей Николаевич, обучившийся этой игре в городе. На первый взгляд черные и белые фигуры были идентичны. Но если присмотреться, то белый король был лицом простоват и добр, а черный – суров и зол. Белая королева едва заметно растягивала губы в улыбке, а черная ехидно поджимала. И даже пешки, сделанные в виде солдатиков с ружьями, имели отличные физиономии.

В горнице было очень уютно: по углам темно, освещено только пространство у стола, да в кути отблески углей из печи. Здесь царило спокойное, бестревожное молчание, нарушаемое стуком спиц в руках у женщин, шорохом страниц, которые перелистывали Степан и Нюраня, глухим чиркающим звуком стамески по дереву – Еремей Николаевич что-то вырезал; свистом дратвы, проходящей через кожу, – Аким шил обувь; мурлыкающим похрапыванием Федота, привалившегося к стене, бормотанием Василия Кузьмича: «Ну-тесть, а мы вас слоном...» – и ответным гыгыканием Петра. Скрипело перо в руках Анфисы Ивановны. Она садилась за

стол, ставила перед собой еще одну коптилку, надевала очки и вела записи в «канцелярии» – толстой тетради, куда заносила доходы, расходы и будущие траты. Память стала подводить, а распределенное по трем местам добро – на заимках, дома и на складах у омского барышника – требовалось контролировать. Чужой взор ничего не разобрал бы в ее зашифрованных записях, как и в переписке с барышником, которая хранилась между последним листом и обложкой тетради. Поди догадайся, что «7Ош +3фКм – 2пЯс+3арСс» означает, что за семь овечьих шкур и три фунта кедрового масла Анфиса получила две пары яловых сапог и три аршина солдатского сукна. Тайнописи ее научил барышник, без конспирации в нынешние времена торговлю вести невозможно.

Им, Медведевым, некуда было деться друг от друга – отапливались только дом да помещение, где ночевали работники, там печка держала температуру «вода не мерзнет». В банные дни Аким и Федот спали в бане. Постоянно находясь на людях, в общении, человек испытывает внутреннее напряжение. А если этот человек – сибиряк, которого окружающая природа приучила к изоляции, склонный к созерцательности, не переносящий гула толпы, то молчание для него – большое благо, уважение к его личности и проявление его уважения к остальным.

Беседы тоже велись, конечно, иногда затягивались за полночь. Включение в семью Василия Кузьмича внесло новые нотки в обычные зимние разговоры. Доктора ценили, вы-

сказывали почтение к его годам, знаниям и эрудиции, терпеливо относились к его взрывам, стариковскому бурчанию и обвинениям всех и вся в дремучести. И тем не менее он был немного клоун, объект для шуток. В частности, потому что не понимал местного говора. В бытность земским врачом Василий Кузьмич общался с омской интеллигенцией, которая диалектизмов старалась не употреблять, подражая столичной речи. А с тупыми крестьянами-пациентами какой разговор?

Ты его спрашиваешь:

– Какая боль, режущая или тупая?

– Такая режущая, что тупая, – отвечает.

И еще «но» вместо «да» употребляют.

– Давно эта шишка у тебя вскочила?

– Но.

Что «но», при чем тут «но»? Темные люди.

Медведевым же, в свою очередь, казалось странным, что он не знает таких простых слов, как «анадысь» (тогда), или «зубатить» (грубить), или «взаболь» (в самом деле), ведь их деды и прадеды так говорили.

Василий Кузьмич регулярно попадал впросак, услышавшись или приписывая диалектизмам неправильное значение. Человек сугубо городской и далекий от сельского хозяйства, доктор однажды увидел племенного быка Буяна в возбужденном состоянии и поразился размерам его пениса. Больше метра между ног болтается, матушки святы!

Приходит как-то Аким с выгона и говорит, что у Буяна пропало ботало.

– Постарел? – качает головой доктор. – Такое великое мужское достоинство его болтало. Коровы потеряли знатного любовника.

Замечание доктора вызвало у всех недоумение. Пока Еремей Николаевич не сообразил и первым не расхохотался:

– Ботало – это не уд, а колоколец на шее!

После этого, кстати, мужики взяли «болтало» на вооружение. Так, наверное, и появляются новые слова.

Метели бушевали по нескольку дней, и Степан часто оставался дома. О том, чтобы добраться до сельсовета, нечего было и думать.

– Зимусь в эти числа так не мелко, – сказал Степан, досадуя на простой в работе.

– Зимусь... проснусь... – забормотал Василий Кузьмич. – Сдаюсь! – протянул он руку Петру, признавая очередное поражение. – Что такое «зимусь», скажите на милость?

– Прошлой зимой.

Василий Кузьмич вскочил и принялся расхаживать по горнице:

– Почему вы не можете говорить просто по-русски: «прошлого года, прошлой осенью»? Нет, у вас все с вывертом: «лонись», «осенесь»...

– А у старообрядцев даже свой счет есть, – сообщила

Нюраня. – Марфа знает. Посчитай, пожалуйста, от одного до десяти.

– Един, пара, – не поднимая головы от шитья, стала перечислять Марфа, – ерахты, барахты, чивильды, евольды, попусту, по-насту, дакинъ, вчкинь.

– Что и требовалось доказать! – воскликнул доктор. – Степан, как ты собираешься этих аборигенов вести к светлому будущему, когда у них ерахты-барахты, дакинъ-вчкинь? У вас ведь «галиться» означает «издеваться, смеяться», а «галицы» – это рукавицы! Где логика?

Степан принялся рассказывать, как во время войны с колчаковцами их отряду нужно было сделать большой бросок, зайти в тыл противнику. Местных проводников отыскиали, но Вадим Моисеевич, командир отряда, только развел руками: ни бельмеса не понимает в том, о чем они говорят. Послали за Степаном, у него с проводниками состоялся примерно такой диалог:

– За курьей старица, а потом прямица в пяти верстах от материка, – говорили мужики. – Далё поньжа, надо крюк давать на каргашак.

– Орудия и обозы пройдут? – спросил Степан.

– Нет-ка, зыбун и ржавца по пояс...

Через некоторое время Степан перевел:

– Они говорят, что после залива, уходящего в луга, будет протока в пяти верстах от основного русла реки. А далее непроходимое болото, надо сворачивать на другое боло-

то, поросшее мелким сосняком. Пушки и обозы там не пройдут, а пехота может, глубина по пояс. Возможно, нам следует разделиться? Живой силой двинем через болота, а обоз и орудия пустим круговой дорогой. Отставание будет на сутки.

— Фактор внезапности, — кивнул Вадим Моисеевич. — Нас ведь не ждут со стороны... как его... каргаша?

«Анна Каренина». Граф Толстой

Степан как-то вспомнил, что зимой в старательской артели они зачитывались «Тремя мушкетерами», многие куски наизусть выучили. О том, что его прозвали д'Артаньяном, не упомянул. Как умел, Степан пересказал домочадцам содержание, вставляя цитаты по памяти. Но реакция слушателей оказалась холодно-удивленной. Чего тут увлекательного? Они привыкли слушать сказки. Мать Прасковьи была знатной сказочницей. В непогодицу в дом Солдаткиных набивалось много народу, бабы по лавкам сидели с рукоделем, дети на печи, мужики на полу. И Наталья Егоровна, Туся, как ее звали близкие, рассказывала сказки. В них было много повторов, обычно по три: трижды царь гонцов посылал, трижды герой заветной цели добивался – и в каждом повторе слова точь-в-точь повторялись. Возникало чувство дремотной погруженности, будто твой собственный сон тебе излагают. И сон этот волшебный кончится хорошо, и хотя ты его видел-слышал много раз, он тебе не надоедает.

Степан же пересказывал «Мушкетеров» торопясь, путаясь, то поясняя что-то, то злясь на дурацкие вопросы.

Анфиса высказала общее мнение:

– Дребедень! Королева – никудышная царица. То отдала герсагу подвески, то обратно требует, мушкетеров, казенных людей военных, за море гоняет. С жиру бесится и на сторо-

ну смотрит. Есть такие бабы, которым мужику голову закрыть – превысшее удовольствие. Она ему не даст, а заради интереса повихляется. Опять-таки царь-король должен авторитетную власть иметь, а его карндира... или как там его, словом, поп, на веревочке водит.

– Мне госпожу Бонасье жалко, – подала голос Нюраня. – Зачем она погибла? Что теперь д'Артаньян всю жизнь делать будет?

Взрослые посмотрели на девочку с легкой насмешкой: баб на свете много, не останется мушкетер монахом.

Чуткая Нюраня верно уловила смысл их молчаливой иронии.

– Другие не такие будут! – выпалила она.

– Странная дисциплина у них в войсках, – презрительно обронил Аким, – захотели – подрались, захотели – ускакали за тридевять земель. С такой армией не повоюешь.

– А дети у них были? – спросила Парася мужа, который сидел, насупившись, досадуя, что не смог донести всю прелесть романа.

– У кого? – не понял Степан.

Он по глазам жены видел, что она хочет прийти ему на помощь, но не знает как. Для нее сейчас материнство – высший смысл жизни, и этот смысл Парася пытается найти в рассказанной истории.

– У королевы, у госпожи Бонасье... Может, у каких иных женщин...

Степан улыбнулся и помотал головой.

– Вы не понимаете! – вскочил Василий Кузьмич. – Это великолепный приключенческий роман! Степан, в сущности, рассказал сюжет точно. Дело не в Степане, не в Дюма – это автор, – а в вас самих, – обвел он рукой сидящих за столом. – Вы дремучи, оторваны от культуры и искусства! Хуже того, вы не любопытны! Вас интересуют только примитивные каждодневные заботы. Вы муравьи! Термиты!

Доктор встретился взглядом с Еремеем Николаевичем. Нет, этот человек, конечно, не муравей. Он из сибирских чалдонов, сам вырвался из крестьянских пут, обладает громадным художественным талантом, его произведения из дерева никогда не будут оценены знатоками... Дальше Нюра сидит. Волшебная девочка, любимица Василия Кузьмича. Врожденный лекарский талант. Пытлива, умна, энергична, все схватывает на лету. Рядом с сестрой Степан. Могутный мужик... «Вот уже стал их определения употреблять», – поймал себя доктор. Степан-то как раз и пытался реалии другой культуры до них донести. Марфа и Прасковья – молодые матери и потому не в счет. Будь они хоть принцессами, дворянками и прочими боярынями – их предназначение сейчас выкормить и поставить деток на ноги. Кто остается? Анфиса Ивановна и работники Аким да Федот. Работники – непоказательный, искореженный человеческий материал, пригрелись, прикормились у Анфисы Ивановны. А сама-то она разве муравей? Или даже матка муравьиная? В тя-

желейших условиях войн, грабежей, продрозверсток сумела сохранить хозяйство, сыто кормит немалую семью и помогает десятку страждущих. Самодурка? Бесспорно! Тиранка? Безусловно...

На доктора смотрели с интересом. Его приступы обличения крестьянского быта походили на беснования юродивого и потому служили развлечением. Он – хмельной, понятно, – заходился иногда так, что, казалось, подскочит и отгрызет тебе ухо. Потому что ты Зимнего дворца не видел или про Чехова не слыхал.

С другой стороны, уже случались ситуации – роды Марфы, тяжелейшие травмы сельских детей, баб и мужиков, открытые переломы костей, отломки которых рвут одежду, торчат наружу в обрамлении кровавого пятна... Тут доктора слушали беспрекословно: становились в изголовье раненого и у его конечностей, по команде тянули на себя, чтобы кости сошлись-сопоставились, а раненый от чудовищной боли переставал впиваться в зажатую между зубами деревяшку, и тогда доктор командовал: «Нюраня, наркоз! Эфир!» – и она быстро вынимала из ослабленного рта страдальца деревяшку и клала ему на лицо холстинку, пропитанную какой-то вонючей жидкостью... К месту перелома прикладывали дощечки, да еще хитро бинтовали через плечи или пах; случалось, доктор велел грузы вешать, чтобы кости обратно не съехали.

Анфисе Ивановне очень не нравилось, что к ним в подворье несут всяких увечных. Нюраня приходила в восторг, что

можно починить в человеческом теле то, что починке, казалось бы, не подлежит. Начав ассистировать Василию Кузьмичу, девочка специально исследовала, то есть шныряла-высматривала тех, кто вылечился благодаря знаменитым костоправам. Ерунда! Успех был только в случае вывихов суставов и переломов без смещения (терминов она уже нахваталась). Сложные множественные переломы, например голени, где три кости сходятся, практически не восстанавливались, открытые переломы либо имели следствием ампутацию, либо вызывали заражение крови и смерть.

Двоякое отношение к доктору было сибирякам в новинку. Жизнь в суровых условиях не предполагала снисхождений, оглядок. Выживает сильный; слабый уходит, мрет. Но Василий Кузьмич – слабый, потешный и одновременно знанием обладающий – смущал семейство Медведевых.

Вот и теперь он разорялся по поводу их дикости и бескультурности, по привычке носился вдоль стола – больше в горнице негде было вышагивать. Вдруг замер, на каждого пристально посмотрев, и визгом своим старческим неожиданно оглушил:

– Минуточку! Что вы мне тут глупые аргументы выдвигаете?! – (Никто слова не промолвил.) – Сидят! Смотрят! У меня была мысль. Нюраня?

– Вы про произведения культуры говорили.

– Точно! Милостивейше прошу не делать из меня старого умалишенного... Аким и Федот, они ведь, когда меня умык-

нули, привезли... моя библиотека... громко сказано, но я видел книгу...

Доктор бросился в свою комнату. Анфиса обвела взором сидящих за столом. Осталась довольна: спрятанные ухмылки, никаких вольностей. Она не просто на каждого с инспекцией уставилась, она еще ответ получила: мы при полном понимании. Расслабившись, плечами пожала: как будто мне этот доктор – приз желанный! Но без доктора Марфа не разродилась бы. И каким парнем! Митяй – богатырь сибирский, уже сейчас видно.

Все эти перегляды не заняли и двух минут.

– Вот! «Анна Каренина», сочинение графа Толстого. – Василий Кузьмич вышел из своей комнаты с книгой в руках. – Величайшее произведение! Вы, конечно, не в состоянии понять всей его гениальности. Однако стоит попробовать. Попытка не пытка, или, как выражается любезный Еремей Николаевич, отказ не обух, шишек на голове не оставляет.

«Анна Каренина» в ту зиму приковала Медведевых надолго. Читали вслух Нюрания и Еремей Николаевич, у которых была хорошая дикция. Дочь, устав, передавала книгу отцу, потом он снова ей. Большие куски текста были непонятны, но их не пропускали. Баритон Еремея Николаевича или колокольчатый голосок Нюрании озвучивали цепочки незнакомых слов о непонятных размышлениях, в смысл которых и вникать не хотелось. Возникало чувство приятной дремоты.

ности, как при слушании монотонных повторов в привычных сказках. При этом за перипетиями личных отношений героев следили пристально.

Все, даже Анфиса, ждали вечернего чтения – хотелось узнать, как сложится судьба Анны и ее полюбовника, старика Каренина, обманутого неверной женой, и хорошего помещика Левина, развратного брата Анны с дурацким именем Стива и его несчастной жены с не менее глупым именем Долли.

Василий Кузьмич, нервничавший из-за сложности произведения, представленного на суд «дремучих людей», немного успокоился – сюжет романа вызывал очевидный интерес. Но все же доктор то и дело взрывался, когда слышал глупые вопросы. Его ответы тоже нельзя было назвать деликатными.

Марфа как-то спросила:

– Все графья книжки писали?

Она любопытствовала, потому что Василий Кузьмич называл автора «граф Толстой».

– Дура! – ответил ей доктор. – Лев Николаевич был единственным порядочным графом-литератором в нашей истории! Он был глыба! Создатель Учения! Что вы знаете о толстовстве? Ни бельмеса не знаете!

В другой раз Степан выразил сомнение: мол, где это офицеры царской армии находили столько времени для амурных походов, «прямо как мушкетеры».

– Ты придираешься к частностям! – вскипел доктор. – Писатель отбрасывает все ненужное, попутное, сосредоточива-

ясь на том, что хочет донести до читателя. Шагистику и учения в летних лагерях, что ли, граф Толстой должен описывать? Болконский жертвует ради любви своей блестящей карьерой! Разве это не ясно?

– Болконский – это кто? – удивился Степан.

– Вронский! – ударил себя по лбу доктор. – Я перепутал. Болконский в «Войне и мире». До эпопеи «Война и мир» вам как до луны. Может, внуки ваши и дети осияют, – махнул он рукой в сторону.

И все посмотрели на мирно спящих младенцев, у которых, ясное дело, будет другая жизнь, только бы побольше мира в ней и поменьше войны.

Прасковья, услышав первую фразу романа «Анна Каренина», надолго задумалась, даже пропустила, о чем шла речь дальше, потом у Нюрани и Марфы выясняла.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

«Так ли? – размышляла Парася. – Если бы все были счастливы так, как я со Степаном, то мир был бы полон добрых, сердечных людей. Счастье, оно будто пир – больше, чем можно съесть, и поделиться не жалко. Все бы делились друг с другом, и наступила бы благодать. А несчастливые семьи? Они-то ноне все на одно скорбное лицо. Какой дом ни возьми – мужиков-кормильцев поубивало, подразверстками все пограблено, вдовы с сиротками, голод и лишения... Госпо-

ди! – незаметно перекрестилась она. – Дай долгих безболезненных лет Анфисе Ивановне! Прости ее прегрешения! Ведь ее хлопотами да стараниями семья в тепле и достатке пребывает!»

Пока книга не закончилась, ее не обсуждали.

Но вот Еремей Николаевич прочел последнюю главу – размышления Левина о смысле жизни. Суть этих размышлений осталась слушателям непонятной.

Еремей Николаевич закрыл книгу и сказал:

– Мудрено. – И после паузы добавил: – Несчастливая женщина Анна.

– Дык с чего это несчастная? – возмутилась Анфиса. – Развратная!

– Она сыночка бросила, – поддержала свекровь Прасковья.

– И дочку не полюбила, – тихо проговорила Марфа.

– У меня сеструха была, – вдруг подал голос Аким. – Сбежала к мельнику, а у самой двое деток и муж... вроде Каренина, старый...

Степан невольно и громко вздохнул, вспомнив Катерину, свою первую любовь.

Прасковья посмотрела на мужа с удивлением, а мать – с хитрым прищуром, как бы говоря: «Помню, как ты выюношей бегал на хутор к мужниной жене!»

Степан от материнской ухмылки едва не взорвался и, пря-

мо глядя Анфисе в глаза, отчеканил:

– Не судите и не судимы будете!

И тут заговорила Марфа, цитируя какие-то святые книги:

– «Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». – Она на секунду замолчала и продолжила: – «Не судите и не будете судимы; не осуждайте и не будете осуждены; прощайте и прощены будете». «Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом».

Марфа покраснела, смутилась, когда на нее все устались. Она впервые и неожиданно для себя выступила в защиту Степана, которого мать колола по любому поводу.

Чувство Марфы к Степану уже не было удушающе тоскливым, оно перешло в тихую нежную грусть, не терзало сердце ржавой пилой, а едва слышно ныло в груди. Так бывает, когда где-то далеко на болоте курлычут невидимые птицы и ты их не ушами слышишь, а за грудиной.

– Обстоятельства разные жизненные бывают, – сказал Еремей Николаевич.

– На обстоятельства неча пенять! – отрезала Анфиса Ивановна. – Обстоятельствами любое зло и разврат оправдать можно. Ишь ты, закобелил ее Вронский! Сына бросила и мужа венчанного, в Италию умахнула. Хорошей супруге Италия не требуется!

– Я вам удивляюсь! – воскликнул Василий Кузьмич. – То

есть я не удивляюсь тому, как примитивно вы оцениваете сюжет гениального произведения. Граф Толстой пишет о душевных переживаниях, он делает акценты на мучительной роковой непереносимости страстей...

— Где у гуляющих баб акценты страстей, известно, — перебила его Анфиса Ивановна. — Книга правильная, но вредная.

— Либо правильная, либо вредная, — усмехнулся Еремей Николаевич.

— Вредная, потому что жалость к Анне вызывает, а правильная, потому что таким, как она, один путь — самоубийство, — пояснила свою точку зрения Анфиса. — Граф Толстой ее под поезд кинул справедливо.

Анфисе не нравилось расхождение мнений. А более всего то, что все мужики почему-то испытывали к Анне Карениной сочувствие. Хорошо, хоть женская часть семьи была единодушна в осуждении развратницы. Нюраня не в счет — дочка только глазами хлопала и с одного на другого спорщика взгляд переводила.

— Что вы все про Анну?! — потрясла ладошками в воздухе Нюраня. — Она же старая! Левин! Его идеи! — захлебнулась, не находя слов, и повернулась к брату: — Степа, скажи!

Мать не дала большаку рта раскрыть.

— Та-ак! Ышшо одна идейная вылупилась! — уперла кулаки в бока Анфиса. Она не помнила, в чем состоят идеи Левина. Но от самого слова «идеи» ничего хорошего ждать было нельзя. — Анадись я тебя этими идеями пониже спины

повоспитываю!

Нюраня тут же торкнулась под мышку к сидящему рядом Петру, он приобнял ее. Укрываясь от материнского гнева, девочка часто ныряла под крылышко к братьям или к отцу.

Никому столько угроз не высказывалось, как Нюране, никто столько язвительных слов не слышал, сколько Степан. И в то же время все видели: и большак, и младшая дочь у Анфисы на особом положении.

– Не надо переводить наш диспут в область личных отношений! – вскочил и принялся мерить шагами горницу Василий Кузьмич. Ему лучше всего думалось и говорилось в движении. – В конце концов, это чрезвычайно любопытно! Тут, в зауральских снегах, среди дремучей тайги, и вдруг спор об «Анне Карениной»! Лев Николаевич много бы отдал, чтобы услышать, как его произведение обсуждает народ.

– Василий Кузьмич, а вы женаты были? – поинтересовалась Парася.

– Увы! – развел руками доктор.

– А детки? – спросила Марфа.

– Не дал Бог.

Анфиса чутко уловила, куда гнут снохи.

– И считаете, что право имеете судить о делах семейных? – с известной улыбочкой поинтересовалась она.

– Но помилуйте!.. – растерялся доктор.

– Если ты не дворянин, то про них и не поймешь? – пришел на помощь Еремей Николаевич. – А ежели в морях не

плавал, то про морские путешествия тебе читать не положено?

– Именно! – воодушевился доктор. – В романе графа Толстого, отбросим в сторону фабулу, ставится вопрос о человеческих страстях. О непреодолимом зове природы! Надо ли его давить? Или отдаться чувствам, над которыми ты не властен?

На лицах женщин было написано решительное: «Давить!» Мужские физиономии демонстрировали явное смущение.

– Вот это-то и поразительно! – окинув всех взором, поднял палец Василий Кузьмич. – Женщины – как бы хранительницы морали, но в каждой сидит Анна Каренина. Мужики – это смесь Каренина и Вронского. Сегодня один вылезет, завтра – другой.

– А Левин? – спросила Нюренья.

– Исключение из правил. Истинность любого правила подтверждается наличием исключений.

– Я жену не любил, – вдруг заговорил Федот. Обычно он кунял, напившись вечером чаю, мурлыкающе похрапывал, привалившись к стене. «Анну Каренину», казалось, проспал. – Она, жена-то, хорошая была, работающая, чистотка, троих сынков мне родила, на лицо и по фигуре ладная... А не любил... Тянуло к Глашке... Мы с ней раньше, до свадьбы... и потом... Не мог я собой управлять. Глашкин муж большей частью на отхожем промысле пребывал, вроде Еремея Николаевича. Извините! А как всех постреляли крас-

ные да пожгли... Я их видел, трупы-то... сынков... Гришка, Егорша и младший Ванятка... Мать их, супруга моя, тут же, руками к деткам тянется... И все черные, обугленные до костей, глазницы дырявые... Невдалеке еще одно тело по-
жженное. Я по колечку опознал, сам то колечко Глашке подарил. Зачем-то бежала она в мой дом, наверное, предупредить, да не успела, приняла смерть вместе с моими законными... Опомнился я, когда от Глашкиного скелету один пепел остался... Не знаю, сколько часов али минут я Глашку сапогами топтал, косточки и прах в землю утаптывал... Жену и деток похоронил, а от Глашки ничего не осталось...

Марфа и Прасковья беззвучно плакали, вытирая щеки. Нюраня сморщилась и хлюпала носом. Мужики посуровели, нахмурились.

Анфиса знала, что у работников, Акима и Федота, от прошлой жизни одни головешки, но подробностей не ведала.

Она потрогала бок самовара:

– Застыл совсем. Акимка, Федотка! Чего расселись, как в гостях? Воды плесните да углей из печи добавьте!

Работники подхватились с готовностью, точно окрик хозяйки был им спасением от страшных воспоминаний.

– Граф Толстой... конечно... – принялся снова расхаживать Василий Кузьмич. – Знаете ли, у его учения было огромное число последователей! Я и сам... Непротивление злу насилием... прочее прекраснодушие. Но граф, что поразительно, никогда не хотел выступать таким пророком, за кото-

рым потянутся миллионы... Может, напрасно? Как бы то ни было, говорят, толстовцев он терпеть не мог. Его публицистика... На склоне лет графушка статьи писал... верные, справедливые... Он гениально предчувствовал потрясения, которые ждут Россию. Но что-то в этих статьях... Не знаю, как сформулировать. Щи постные, без мяса. В «Анне Карениной», в «Войне и мире», не говоря уж о «Севастопольских рассказах», есть нерв. Есть мясо... О чем я? Сбился. Доктор молодой, мой преемник, привез итоговую книгу графа Толстого «Путь жизни». Доктор на сей труд молится. А на что ему еще молиться, позвольте спросить, когда пациенты мрут от недостатка самого элементарного? Как защитить свое сознание? Доктор не пьет. Да я и не хую сей труд! Новая библия, свод морально-нравственных наипрекраснейших правил этот «Путь жизни». Написанная восьмидесятилетним мудрецом!

– Молодых-то мудрецов не бывает, – подал голос Еремей Николаевич.

– А вот тут-то я с вами соглашусь, но и поспорю! Может ли старец, гениально одаренный от природы, безусловно наделенный жизненным опытом и прочитавший много книг, обогащенный всей духовной мудростью человечества, от индийских свитков до мормонских библий, но... Но! В силу возраста физиологически утративший телесную мощь, рефлекс... Может ли он стать для нас пророком?

Василий Кузьмич оглядел слушателей – никто не понял

его торопливой речи.

– Я скажу проще, приведу пример. Толстой пишет, что совокупление, подчеркиваю, даже соитие законных мужа и жены без цели зачать ребенка... Внимание! Безнравственно, грешно! Как вам?

– Правильно! – вырвалось у Анфисы.

Она в это момент находилась точно напротив мужа и поймала его взгляд. Нехороший взгляд, жалостливый – так на калеку смотрят.

Анфиса повернула голову: Марфа аж светилась вся от какого-то внутреннего ликования, Параська и Степан хитро перемигивались, Нюраня заскучала.

– Что? – не понял возникшей паузы Василий Кузьмич.

Ему было невдомек, что интимная сторона жизни крестьянами никогда не обсуждается. Шутки, намеки – другая статья, а серьезно и публично говорить о том, что только супругов касается, не принято.

– Что к чаю желаете? – спросила Анфиса, тоном ставя точку в разговоре.

Марфа и Прасковья поднялись.

– Куда? – гаркнула Анфиса, досадуя на свою оплошность.

– Деток кормить, – сказала Марфа.

– Заплакали, – кивнула в сторону их комнаты Парася.

Обе снохи вытянулись в струнку, как солдаты перед ефрейтором.

– Идите, – отпустила их Анфиса.

Матери и дети

Сына Марфы называли Дмитрием. Петр, когда в первый раз увидел младенца, гыгыкнул:

– О! Какой Митяй!

– Дмитрий Петрович Медведев? – задумчиво спросила Анфиса. – Хорошо звучит, пусть будет Митяй.

Давать имена по святкам у Медведевых было не принято, и никакой сакральности за именами они не признавали.

Марфе было не важно, как назовут сына. Ему подошло бы любое имя, потому что любое имя – ничто в сравнении с этим сокровищем. Все равно что дать имя небу. Как угодно его величай, оно все равно останется огромным, переменчивым, непостижимым, великим, жизненно необходимым.

К трем месяцам близнецы Ванятка и Васятка, дети Прасковьи и Степана, едва набирали вес, который был у Митяя при рождении. Сам же он, пухленький, как молочный поросенок, рос словно на дрожжах. У Прасковьи молока хватило бы на одного ребенка, а на двоих недоставало. Марфа прикармливала племянников. У нее-то молока, даже при аппетите Митяя, – залейся.

Кормление младенцев, когда матери оставались с ними наедине, навсегда осталось в памяти Марфы и Прасковьи как время удивительной благодати, спокойного тихого счастья. Молодые женщины сблизились во время беременности, на-

зывали друг друга сестрами, а теперь их сыновья, родившиеся практически одновременно, – не только двоюродные, но молочные братья.

– Дай я Митяйку покормлю, вдруг мое молоко слаще? – как-то попросила Прасковья.

Марфа протянула ей сына. Митяй рано стал протестовать против тугого пеленания, и ему оставляли руки свободными, укутывая в кокон пеленок только ноги.

Прасковья поднесла к ротiku малыша сосок, и Митяй его жадно захватил, еще и ладошки положил на грудь, словно боялся, что источник еды отнимут до того, как он насытится.

– Ой, как тянет-то! – поразились Прасковья. – Вот силища! Ай да богатырь! Сестренка, а по вкусу ему молоко-то мое, ишь как жадно тянет, с прихлебом.

Марфа, кормящая Ванятку, улыбнулась:

– Намнет он тебе сосок-то. Даром что беззубый, а как прихватит – искры из глаз.

– Ты смотри, уже все высосал! И злится, злится-то! Я тебе из другой сиски дам, коль теткино молочко понравилось. Что за обед в одну перемену? – подражая голосу свекрови, Прасковья притворно нахмурилась. – Мы не голытьба, чтобы одним блюдом, пустыми щами, наесться.

Марфа рассмеялась, заколыхалась, сосок выскочил из ротика младенца.

– Ой, прости, миленький! Такая твоя мама пересмешница, чисто артистка.

Василий Кузьмич запретил давать детям со́ски – жеваный хлеб в тряпице: «Суют младенцам в рот всякую грязь, а потом удивляются, что у них дети мрут как мухи!» И еще доктор велел в тихий морозный солнечный день выносить младенцев во двор, укутанных, конечно, но чтобы лицо открыто было. Мол, солнечный свет от рахита убережет.

Анфису эти рекомендации поначалу пугали:

– А ну как застудятся дыханием морозным?

– Не застудятся, – говорил доктор. – Я же не прописываю их часами на улице мариновать. Ненадолго! У северных народов только лучик сквозь тучи появится, они своих малолетних эскимосов под него подставляют.

В Сибири для убережения от рахита младенцам давали рыбий жир. Анфиса еще осенью натопила две большие бутылки рыбьего жира: мутноватого – пойдет в тесто и чистого, прозрачного, пахучего – внукам.

– Ну и сколько вы прописываете им рыбьего жира? – спросил Василий Кузьмич, который сам толком не знал положенной дозы и потому нервничал. – Вы даете себе отчет, что любое лекарство действенно только в строго определенной пропорции? Мало – не поможет, много – покалечит. Сначала они своими гнилыми зубами жуют хлеб и толкают его в рот младенцу, а если не помогает и тот продолжает плакать, поят его маковым молочком – опиим! Заливают в него масло в количествах, от которого и печень взрослого человека

выйдет из строя...

– Не даем мы маку, – перебила Анфиса Ивановна. – Дык сколько рыбьего жиру-то надо?

Василий Кузьмич не слушал и гнул свое:

– Это какой-то естественный отбор по-крестьянски! Большой привет Дарвину! Кто выживет, потом, да, согласен, закаливание, хорошее питание – получите знаменитое сибирское здоровье. Но вы когда-нибудь себя спрашивали, сколько детей умерло от невежества матерей и знахарок?

– Я себя не спрашивала, я у вас интересуюсь на предмет рыбьего жира.

– Десять капель, – принял решение доктор. – Ни одной боле! И на солнце их, на воздух! В избе не проветривается, натопят так, что пот градом, а потом хотят, чтобы микробы не размножались!

К весне, когда внукам исполнилось полгода и Митяй первым уже встал на ножки, Еремей Николаевич сделал им манежик. Квадратный поддон, поверху невысокие балясины и перильца, оструганные до стеклянной гладкости, чтобы дети не занозились. На доски клали одеяло и пускали детей. Такой манежик Еремей Николаевич как-то в городе подсмотрел, а Василий Кузьмич горячо одобрил, что бодрствующие дети не в люльках качаются, а в вольном ползании пребывают. И тугое пеленание, которое якобы от кривых ножек предохраняет, отменил: «Кривые ножки – симптом рахита, дикие вы

люди! Сначала бинтуют детей до года, а потом хотят свободу личности получить».

Младенцы были одеты в длинные фланелевые рубашонки, на головах – чепчики, на ножках – из мягкой козьей шерсти пинетки. Под рубашонки им навязывали подгузники для впитывания отходов организма.

Наблюдать за малышами было потешно. Тем более что никто и никогда не видел, как ведут себя подрастающие сосунки. Мать обычно как? Накормит, переоденет и пошла дальше трудиться. Отец или дед раз в день, может, и подойдут, «козу» сделают. А тут зима, все дома, в манежике короеды ползают и гукают. Вот ведь как интересно: мелкота неразумная, а тоже не без проказливой хитрости и подражания. Митяй стоит, покачиваясь, балясины трясет. На секунду замирает – как бы мысль ему в голову пришла. Понятно, какая идея: слышится пулемётное «пук-пук» и звук облегчения по-большому. Ванятка и Васятка, которые только по-пластунски передвигаются, прислушались и тоже следом: «пук-пук» и далее как положено.

– Вот это коллективизация! – смеется Еремей Николаевич.

– Фу, запах! – морщится Анфиса Ивановна. – Прасковья, Марфа, смените детям живо!

Женская половина семьи считала, что близнецы совершенно различные: у Ванятки глазки продолговатее, носик приплюснутее и ушки вывернуты не так, как у Васятки.

Мужчины ничего продолговатого, приплюснутого и вывернутого не видели, родных сыновей не различал даже Степан, отец. Зато все сходились в том, что пацанята не по годам, то есть не по месяцам смышленные. На вопросы: «Где мама? Где папа? Где Нюра? Где деда, баба?» – правильно поворачивали головы (правда, папами были и Степан, и Петр, а мамами – и Марфа, и Пасковья). Они узнавали бабушку Тусю, когда та приходила, колотили ногами и руками радостно. Потому что она с ними играла под прибаутки веселые.

Анфиса ревниво бурчала:

– Ты совсем их зашшикотала, уж заходятся!

Сама Анфиса никаких стихов и песенок не знала, а Туся – в изобилии. Научила молодых матерей и колыбельным, и потешкам на все случаи. Просыпается ребенок, потягивается, ему гладят ручки, ножки, разминают спинку (Василий Кузьмич называл это «народный массаж»), кушает ребенок прикорм – толокно с ложечки, плачет, показывает пальчиком на солнце, на снег, на дождь, купают малыша, вытирают его – каждое действие сопровождается коротким, легко запоминающимся стишком.

Анфиса боялась, как бы Митяю от отца не перешло гыгыканье и вообще дурнота в голове не досталась. Но внук пока выказывал, напротив, чудеса сообразительности. Не поверила бы, если б сама не видела и не слышала. Семимесячный Митяй держится за перильца в манежике, прыгает на месте и так четко слоги выкрикивает: «Ба... на... ва... га». И вдруг

осмысленно, глядя на Марфу: «Ма!» Попрыгал еще, на Петра взгляд перевел: «Па! Ы-ы!» – прямо-таки передразнил отца. Все просто ахнули.

Сначала думали, что атаманом у них будет пухлый бугаенок Митяй. Но вот близнецы подросли, окрепли и стали выдавать характер. Отберет себе Митька игрушку, отпихивает братьев, не отдает. Они отползут в угол манежа для разбега, на четвереньки встанут и дружно вперед засемяют, чисто козлята. Хрясь Митьку головами – кто куда попал. Потом, правда, сами эту игрушку между собой поделить не могут, и вот уже все трое ревут-заливаются.

Сытые здоровые дети на вольном выпасе не особо досаждали своим плачем. Хотя, когда зубки резались, и матери с ними намучились, и остальные домочадцы спать не могли – пацанята орали, друг друга заводя, так, словно у них штыки винтовочные из десен лезли.

Еремей сделал внукам лошадки-качалки. Красоты необыкновенной, и все разные. Одна лошадка – серая в яблоках, с белой гривой и развевающимся хвостом. Вторая – гнедая, шоколадно-глазуревая, а хвост и грива – рыжие. Третья черна как смоль, с тонким золотистым узором, хвост и грива чуть дымчатые. У всех лошадок морды были не совсем лошадиные, а чуть-чуть как лица человеческие. И почему-то сразу становилось понятно, что серая – Митяйкина, гнедая – Ванина, а черная – Васяткина. И дело тут не в сходстве, у самих-то детей мордашки еще неопределенные,

и все трое друг на друга похожи. Что-то неуловимое было Еремеем подмечено, такое, что словами не описать, пальцем не показать, а ощущение дает безусловное. На удобных спинах лошадок были закреплены маленькие седла, вниз шли стремяна на кожаных ремешках с запасом, чтобы отпускать по мере роста детей.

– Потрясающе! – воскликнул доктор. – Еремей Николаевич, в вас умер великий скульптор!

– Дык жив еще, – улыбнулся Еремей. – А насколько великий – сомнительно. Но за доброе слово спасибо!

– Его бы умения, да на пользу семье, – сказала Анфиса. – Мы б уже миллионщиками стали.

– Мама! – возмутилась Нюраня, которая с детской завистью носилась вокруг лошадок. – Ну какие теперь миллионщики? Всех капиталистов давно как клопов подавили. Можно я покачаюсь? Я тихонечко! И-го-го!

Культура и звери

Многоснежье затянуло весну и вызвало большой паводок, скотину долго не могли перевести на подножный корм. Медведевым заготовленного сена хватило, а во многих хозяйствах полудохлых отощавших коров и овец с трудом поднимали на выпас.

Степан ближайшей целью своей жизни поставил создание артелей и кооперативов, мало бывал дома, носился по району, мчался в Омск выбивать необходимую технику или семена. Он провел столько времени в седле, что уже, наверное, по расстоянию доскакал до Москвы. Степан с горечью отмечал, что коммунары и кооператоры трудятся совсем не так, как единоличники. Полевые работы начались поздно, и провести их надо было в короткие сроки, поэтому единоличники работали от зари до зари. Они помнили золотое правило: один весенний день зимний месяц кормит. Коммунары в большинстве своем усердия не проявляли, как батраки, которых хозяин не выгонит – каждые руки на счету, заменить некем. Иждивенческие настроения росли и множились, что было неожиданно для Степана, о таком подвохе он не подозревал. В прошлом поголовно бедняки, коммунары считали, что новая власть устанавливалась специально для них и теперь должна опекать их, как мать слабое дитя.

Главным, конечно, было поставить во главе кооперати-

ва или коммуны хорошего руководителя – классово сознательного лидера, умеющего повести за собой и обладающего хозяйской сметкой. Таких практически не было. Классово сознательные партийцы были хороши глотку драть, а пахать и за скотом ходить им не в удовольствие. Из города для поддержки и усиления кооперативного движения присылали проверенных партийцев. Они приезжали с пухлыми портфелями распоряжений, постановлений, планов площадей посевов и разнарядками продналогов.

Бюрократическая волна всевозможных постановлений Степана поражала – что ни неделя, то новое указание. Волна зарождалась в столице, катилась по Центральной России, переваливала через Урал, нисколько не ослабевая. В Омске сидело много народа, кумекая, подсчитывая, ломая карандаши, как общий план посевов и хлебозаготовок раздробить на деревни и села, едва ли не на каждое хозяйство. Единоличники никакого постороннего планирования не признавали и только посмеивались над ним. Как и их деды, они планировали, исходя из того, каким обещает быть год – благоприятным для ржи или пшеницы. Конечно, всегда можно было ошибиться, но для того и резервные посевы. Весной многие посадили больше обычного льна и конопли. Население в деревнях преимущественно женское, лен и коноплю обрабатывать, в пряжу превращать – их вековечное занятие. Домодельная одежда поневоле в моде, да еще постельное белье, полотенца, мешки для хранения урожая и холсты для

покрытия шуб и тулупов – все это надо производить самим. Степан на деревенских сходах агитировал, призывал, давал честное партийное слово, что осенью хлебозаготовки пройдут справедливо, у крестьян государство купит хлеб по хорошей цене. Крестьяне кивали, не возражали и... делали по-своему. В честное государство они не верили, рынок и справедливая цена – понятия зыбкие. Рынок – для выгоды торговли, соревнование, в котором не могут все поголовно быть победителями. Проигрывают чаще всего те, кто торопится. Хорошая цена осенью бывает много меньше плохой цены весной. И все-таки на территории, подначальной Степану, посевные площади зерновых были значительно больше, чем в среднем по области.

Кооператоры и артельщики к планам, спущенным сверху, относились безучастно, как и к руководителям-горожанам, которые ни бельмеса не смыслили в сельском хозяйстве и с чувством превосходства смотрели на крестьян – понукали, орали, едва ли не хлыстами размахивали. Главным для них было – отрапортовать. Что посеяли, где посеяли – не важно, только бы отчитаться о выполнении плана. Степан видел в артельщиках что-то детское: безответственность, спокойное восприятие окриков и угроз. Ребенок, понутив голову, слушает, как распекают его родители, но его смирение вовсе не означает, что он усвоил наставления и будет им следовать, что завтра снова не напроказничает.

С одной стороны, ситуация логичная: власть новая, и ее

движущая сила – пока только дети. С другой стороны, у сорокалетних-то мужиков, отцов семейств, уж должны, в конце концов, появиться хозяйский подход к делу и забота о том, чтобы росло благосостояние? Принцип «общее (земля, орудия, скотина, птица, семена, урожай и прочее) – значит, и мое, личное» прививался плохо. «Общее» было чьим-то, отстраненным, абстрактным, не собственным.

Появились нехорошие примеры того, что работающие и ответственные мужики выходили из состава артелей и кооперативов, не хотели трудиться бок о бок с лодырями. Степан считал, что кнутом и пряником сгонять бедноту в артели – неправильная политика. Надо отобрать, сагитировать надежных мужиков, поставить над ними хорошего лидера. Успех (читай – достаток, богатство) обязательно будет, земля всегда отзывается на истовый труд. И в сельском хозяйстве, в отличие от промышленности, результаты видны быстро – за сезон. Тут вступит в действие сила примера, иначе ее завистью можно назвать. Завистью не черной, а конструктивной – так лучше, чем по старинке. Преимущества совместного кооперативного труда были очевидны. Хотя при общем владении, подозревал Степан, все-таки надо оставить и что-то личное. Поля, пастбища, стада – общие, но огород или корова с теленком – личные. Однако тут же возникает вопрос: как быть с сеном на зиму? Сначала заготавливаем для общественного стада, а потом каждый для личного скота? Какая-то барщина получается... Вопросов много, никто наверху ответов не

знает, там даже не задумываются, только директивы и планы спускают. Им, наверное, покажутся мелочью проблемы идеальной коммуны, сочетающей большое общее и маленькое собственное. Не хотят мудрецы в столице понять: личное отомрет постепенно, по мере роста благосостояния и коммунистического сознания, которое с трудом проникает в головы людей среднего и старшего возраста, но легко приживается в головах молодых. Ей, молодежи, нужно только дать аргументы. Молодежь всегда отвергает опыт предков. Правда, потом его принимает и выдает за собственный. Этот период, когда всё отвергают, а родительскую мудрость принимают в штыки, и надо использовать для формирования нового сознания! Поэтому в Степановой идеальной коммуне большинство обязательно должно быть молодым – парни и девки, недавно поженившиеся или с детьми малолетними...

Степан не заметил, как у него зародилась и стала крепнуть идея под названием «моя коммуна». Он не торопился воплощать ее в жизнь, потому что еще не мог найти ответы на многие вопросы экономического устройства «его коммуны».

Зато другая мечта осуществилась: давно хотел свозить Парасю в Омск и наконец устроил жене три дня культурного отдыха.

Они побывали в музее, где Парася впервые увидела живописные полотна. Вышла из музея на ватных ногах, с ощу-

щением, что голову засасывает в громадную воронку – так велико было впечатление, которому и определения не было, хорошее или плохое. Слишком большое. Посетили цирк на Казачьей площади, где Парася покрывалась краской стыда, когда выступали гимнастки и акробатки, гибкие как змеи и раздетые почти догола. Силачи и борцы, тоже зачем-то раздетые, не произвели на нее впечатления – видала и могут-нее мужиков. Животные: собачки, медведи и львы – вызвали жалость. Они исполняли трюки с торопливостью голодных, испоротых, забитых трусливых существ.

Степан не мог все время посвятить жене и, пока он бегал по инстанциям, Парася гуляла по скверам, сидела на скамеечке.

– Как тебе? – постоянно спрашивал Степан. – Нравится?

– Чудно́, – отвечала Прасковья.

– Так чудно́, что противно? – допытывался Степан. – Или так чудно́, что увлекательно?

– Дак сразу чудно́е-то не разберешь, – уходила от прямого ответа жена. И обязательно добавляла: – Как я тебе, Степушка, благодарна! В другом мире побывала. А он под боком-то!

– Вот именно! Ограниченность сознания крестьян дает повод обвинять их в бескультурности, невежестве, дремучести. И тут надо действовать с двух концов: чтобы крестьяне тянулись к культуре, но чтобы и сама культура была им понятна, соответствовала их представлениям о прекрасном. Парася, ты меня понимаешь, поддерживаешь?

– Всей душой поддерживаю! Только в гостинице клопы, как бы мы домой не привезли.

В последний вечер они побывали в драматическом театре. Давали «Вишневый сад». Что такое «вишня», Парася не знала; о чем на сцене толкуют, не понимала. Сидеть в жестких креслах, обитых вытертым, непонятного цвета, залоснившимся бархатом, ей было брезгливо и неудобно. Если руки на подлокотники положишь, то либо соприкоснешься с соседом справа – толстобрюхим потеющим дядькой, либо окажешься в близости с мужем, который слева сидит. На людях жене к мужу льнуть не подобает. Поэтому весь спектакль Парася просидела, сплетя руки на коленках, выгнув плечи вперед, ввалив грудь, и очень устала от напряженной позы и от собственной неспособности понять, что происходит на подмостках.

На выходе им повстречался Данилка Сорока. Развязный, щегольски одетый, нетрезвый.

– О! Какие люди! Прасковья Порфирьевна! Позвольте поручкаться? Не хотите? Да и пошли вы... Степан, ха-ха, а чего это ты супругу нарядил, точно купчиху? – с издевательской усмешкой спросил он.

Степан побелел от ярости. Прасковья вспыхнула – знала, что Данилка прав.

Они с Марфой и не без участия свекрови готовили ей наряд для Омска. Изумительные козловые сапожки с высокой шнуровкой. Будь впору, на миниатюрной ножке они смотре-

лись бы кукольно изящно. Но у женщин Медведевых размер ноги сильно превосходил Парасин, пришлось в мыски сапожек тряпок напихать. Добротного шелковистого темно-зеленого сукна юбка была присборена на тонкой талии. Блузка нежного одуванчикового цвета, вся в кружевах и прошвах, хотя их не видно из-за телогреи, надетой сверху. Телогрея в тон юбке, но посветлее, стеганная клеткой, в стежках едва заметная золотая нить. На голове... Женщины в театре были либо простоволосые, стриженные, на косой пробор пригладившие жирные волосы, либо закрывшие головы лихо повязанными красными косынками, а Парася укутана шелковой косынкой, с кистями. Степан ничего не заметил, но Прасковья-то понимала, что выглядит здесь чужестранно... если мягко сказать. Театральное представление обернулось для нее мукой, но это не повод портить настроение мужу, который давно мечтал свозить ее в Омск. И уж совсем не годится дать возможность подлому Данилке насмешки чинить.

Прасковья, утомленная, раздавленная и униженная этими тремя «культурными» днями, все-таки нашла в себе силы повернуться к мужу и спросить, точно в недоумении:

– Степушка, а это кто?

Еще и ткнула презрительно пальцем в Данилку.

Степан мгновенно обмяк, понял игру жены, рассмеялся:

– Леший его знает! Похожая харя у нас в деревне раньше бедокурила. Да кто их, варнаков, разберет? В черную кожу с головы до ног запеленаются, все на одно лицо. Пойдем, лю-

бушка!

Они обошли застывшего в пьяной злости Данилку и двинулись к выходу.

Данилка секундно окаменел. Не потому, что не нашелся с ответным выпадом, не потому, что побоялся – драка с председателем заштатного сельсовета Медведевым в фойе театра была бы Сороке даже интересна своими последствиями. Данилка застыл, потому что увидел, как они переглянулись и мгновенно поняли друг друга. Прасковья, на лице которой до первых его реплик было написано: «Скорее отсюда!» – и Степан, переставший дышать от ярости, вдруг, только глазами встретившись, преобразились. Не просто расслабились, а еще и зашутковали.

О том, что такая глубинная связь может существовать между мужчиной и женщиной, что они способны понимать друг друга без слов, с полувзгляда, Данилка не подозревал. Но открывшееся знание вовсе не вызвало у него зависти или желания иметь нечто подобное.

Он был насильник и убийца, людоед.

Волк не замечает грациозной красоты лани и не умиляется трогательной резвостью олененка. Для волка они только добыча, еда. Зверь по натуре, Данилка все-таки по рождению был человеком и не мог не видеть в людях доброту, нежность, отзывчивость, преданность. Эти качества он презирал, хотя они подчас были сильнее страха, боли и угрозы неминуемой смерти. Некоторые подозреваемые на допросах

держались до последнего. Кости у них сломаны, зубы выбиты, на теле, покрытом ожогами, места живого нет – кричат, стонут, сознание теряют, но не выдают своих.

Человеческое в звере бывает только хорошим. Прирученные животные умеют любить, понимают речь, они преданны безоговорочно и бескорыстны абсолютно. Зверское в человеке всегда страшно. Потому что ему нравится убивать не ради пищи, а из-за дикого животного инстинкта, который так же противоестественен, как рождение ребенка с хвостом. Хвостатых людей появляется крайне мало – один на миллионы. А те, что имеют «хвост» в душе, встречаются гораздо чаще.

Данилка Сорока давно лелеял мечту отомстить Степану Медведеву. В отложенной мечте была своя прелесть, сходная со сладким нетерпением перед первым ударом, который он нанесет на допросе арестованному. Но там все происходило быстро, а с Медведевыми он не торопился, выжидал, искал случая. Просто убить мужика вроде Степана – только мученика героического из него сделать. Надо извести весь его род – мать с отцом, брата, сестру, детей... Плодовитый гад, сразу двойню настрогал. И уничтожить их должен не Данилка, а власть, которую Степан сильно любит и ценит. Чтобы удары штыковые он получал не только в сердце, но и в голову, чтобы не только боль за близких, но и крушение веры превратили его в доходягу.

Планы Данилки откладывались, потому что его карьера, стремительно начавшаяся в ЧК, застопорилась в ОГПУ. Его корили за неоправданную жестокость, за то, что он пытается людей без цели, когда арестованные просто не обладают нужными сведениями. Лучше Данилы Егоровича Сорокина не было на выездных заданиях, поставленные цели всегда выполнялись. Но пошли разговоры о недопустимых средствах. Кто-то из отряда проговорился, что командир мародерствует, сильничает девок, а стариков заставляет становиться перед ним на колени. Сорока хотел вычислить доносчика и примерно наказать, чтобы другим неповадно было. Заодно требовалось погасить слухи о его прошлом, мол-де не в красных партизанах героически сражался, а в составе банды грабил и жег хутора. Тут еще Вадим Моисеевич – доходяга चाहоточный, Степки Медведева покровитель – вызвал к себе и зачитал коллективный, со многими подписями доклад, в котором рассказывалось о его бесчинствах.

– Я видел в вас истинного бойца революции, – с отцовской горечью произнес Учитель. – Я ошибался. К сожалению, на начальных этапах революции нам требовались люди, способные давить в себе жалость и сочувствие. Но утверждать, что эти люди станут основой нового общества, совершенно недопустимо и кощунственно.

«Надо прихлопнуть этого жида, – думал Сорока, не вслушиваясь в речи Вадима Моисеевича. – Развонялся, доходяга. У него авторитет и должность, навредит».

Со смиренной физиономией Данилка выслушал Учителя, который заявил, что считает необходимым поставить личное дело Сороки на бюро губкома партии.

Данилка давно вызубрил фразы, которые очень нравились большевикам.

– Решение партии для меня закон, – сказал он, хмурясь, изображая раскаяние, а внутреннее насмехаясь. И вышел из кабинета неверной походкой, как человек, который старается держаться твердо, но свалившиеся на него известия заставляют ноги дрожать. Данилка был не чужд актерства.

Следующей ночью кабинет Вадима Моисеевича выгорел. Охранникам удалось пожар остановить, и другие помещения не пострадали. Доносы на Сорокина были мелочью по сравнению с важнейшими документами, безвозвратно утерянными.

Данилка Сорока имел железное алиби – до утра просидел у старой большевички. Была у них такая, партийный псевдоним Астра. После каторги двадцать лет провела в эмиграции, а вернувшись на родину, оказалась в Сибири. В текущей ситуации она не разбиралась и была, в сущности, обузой, поэтому пристроили ее в секретариат – ведь Астра знала Кропоткина и Плеханова, с Лениным была на «ты». Семьи не имела, к старости стала невероятно болтлива, попадешься ей под руку – замучает воспоминаниями. Над Сорокой даже посмеивались – влип в клейкий поток бесконечных речей Астры, только к утру выбрался. От того, что посмеивались,

алиби становилось еще убедительнее. Астра прекрасно помнила события многолетней давности, но забывала, что произошло день или несколько часов назад. Из ее памяти выпало, что кончились папиросы и Данила Егорович вызвался за ними сбегать. Но сам факт «интереснейшей беседы» она подтвердила. Сороке хватило времени устроить поджог. Вернулся и еще два часа слушал дряхлую старуху. Хотелось ее придушить, едва сдержался.

Вадим Моисеевич вскоре уехал на лечение, не ведая, что счастливо избежал смерти от руки Данилки.

Степан с женой вернулись за полночь. На следующий день Марфа тихо в кути расспрашивала Прасковью: как было, что было?

Анфису Ивановну эти вопросы тоже занимали, хотя она не стала бы произносить их вслух.

– Что вы там шепчетесь? – прикрикнула свекровь. – Прасковья, в голос вещай!

– Очень благодарна Степану. В Омске было занимательно интересно, очень культурно в музее, так же в театре. Цирк опять-таки, и еще в кинематограф ходили... Магазины... Моды совсем не наши, женщины даже возрастные – все стриженные и простоволосые, курят папиросы. Косынки красные мне понравились – задорно.

– Так ты теперь поводишься за модами в Омск мотать? – спросила Анфиса.

– Нет, матушка, – помотала головой Прасковья. – Народу в городе завозно: все спуют, спуют, всё лица, лица – муторно становится, не продохнуть, голова как с угару, а по телу будто черти молотили.

Анфиса услышала, что хотела, но и не подумала свое удовлетворение невесткам показывать:

– Чего застыли? Язвило бы вас! Всё бы лялякать, языками чесать! Послал Бог невестушек...

Затянувшаяся весна и, по приметам, грозившая рано наступить зима требовали выполнять полевые, огородные, ремонтные и строительные работы спешно. Анфиса, по словам Еремея Николаевича, вытянула из всех домашних жилы, намотала на руки, как вожжи, и правила, будто ямщицкими лошадьми, – безжалостно, давая лишь короткий отдых на еду и сон. Себя, конечно, тоже не жалела.

У Анфисы теперь было богатство, которое не купишь ни за какие деньги, – внуки, три парня. И ее внукам должно перейти зажиточное, справное, не худосочное хозяйство. Ее внуки должны расти в гордости, а в нищете гордости не бывает.

Правда

Митяю было восемь месяцев, когда Анфисе открылась правда.

Который день лили дожди, точно море-океан переселился на небо и разверзлись те самые библейские хляби небесные. Вода падала с высоты сплошным потоком, то усиливаясь, то ослабевая, но не останавливаясь ни днем, ни ночью. Злаки с полей еще не были полностью вывезены, а что свезли в ригу, прело и сгнить грозило. Анфиса злилась и нервничала, заставляла разбирать стенки в риге, устраивать сквозняки, ворошить зерно. Когда закладывали зароды (метали сено на шалашом поставленные решетины), Анфиса коршуном кружила. Хотя, конечно, коршун – птица безмолвная, а хозяйке покажется, что не рыхло сено мечут или плохо вычесывают, – и в бога и в черта оскандалит. Сено присаливали, но все равно оно могло осенью пригреться и сопресть. Кроме того, на присоленный корм зимой потянется зверье из леса, растащит зарод, что не сожрет, то в снег втопчет. А вывезти раньше времени тайные зароды нельзя – могут «спроприировать» в пользу голытьбы, которая в товарищества по совместной обработке земли объединилась. Они и в хорошее лето не могли толком кормов скотине заготовить, а нынче у голодранцев недокорм начнется с декабря.

Анфиса надорвалась на работе и от тревог. Грудь сдавли-

вало, точно ребра стали уменьшаться в размерах и сжимать внутренности.

Она вошла в дом, чтобы хлебнуть горячего взвару, который по ее требованию всегда стоял в углу печи. От горячего питья становилось легче, меньше на сердце давило.

В доме, кроме невестки и мужа, никого не было. Марфа покормила близнецов, те спали в манежике. Теперь она давала сиську своему Митяю. Рядом сидел Еремей, гладил мальчика по головке и смотрел на Марфу...

Этот их перегляд был точно выстрел, или, вернее, сноп солнечного света, озаривший кусок земли до последней травинки, открывший правдивую картину. Анфисе сразу и безоговорочно стало понятно то, что прежде вызывало смутные сомнения, хотя никогда не становилось предметом ее размышлений. Анфисе было не до праздных размышлений, когда урожай погибает. Марфа и Еремей смотрели друг на друга с нежностью родителей, восхищающихся своим чадом. Так вот почему у пузатого, белобрысого, сероглазого Митяя не увидеть и черточки стойкой туркинской породы. Нет в нем ни капли Анфисиной крови. Митяй – дитя греха, надругательства над Анфисой. Десятки мелких, неприметных знаков внимания Еремея снохе, которые Анфиса приписывала природной добродушности мужа, всплыли в памяти и теперь уже имели совершенно иное значение. А Марфина почтительность свекру? Ведь чувствовалось в этой почтительности что-то особенное, тайное, стыдное и в то же время власт-

ное, собственническое, точно она, Марфа, власть имеет. И еще... Что еще? Марфа, если бы муж Петр ее забрюхатил, стелилась бы перед ним, угождая и предупреждая любое желание, а она всю беременность была к Петру такой же безучастно-равнодушной, как все годы замужества...

Все эти мысли пронеслись в голове Анфисы за доли секунды, и она не разложила их по полочкам, хотя привыкла все реакции домашних анализировать, чтобы потом управлять ими – давить или поощрять. Это была вспышка молнии, за которой последовала страшная боль.

Мышь-предчувствие давно терзала Анфису. Силой воли Анфиса старалась мышь удавить, а та все жила, пищала и пищала. А теперь вдруг превратилась в большую злобную зубастую крысу, похожую на крокодилицу, однажды нарисованную Еремеем, а потом им же и стертую со стены в их супружеской спальне... И эта крыса-крокодилица... А ведь он ее, Анфису, законную жену, так называл в моменты ночной близости... Все смешалось, перепуталось, непотребством замутилось... И эта крыса-крокодилица, оказавшаяся внутри Анфисы, бывший писклявый мышонок, разверзла пасть и вцепилась в Анфисино сердце...

Марфа и Еремей не слышали, как вошла Анфиса. Обернулись только на шуршащий звук падающего тела: по стене сползала на пол Анфиса, безумно вытаращившая глаза, раскрывшая рот в беззвучном крике невыносимой боли.

– Фиса, Фисонька! – подскочил к жене перепуганный

муж. — Что с тобой?

Разорванное крысой сердце брызнуло двумя горячими кровавыми струями в горло и в левую руку. От боли Анфиса не могла ни дышать, ни говорить, но почему-то ясно, каким-то непонятным внутренним зрением, видела эти две кровавые струи — в шею и в руку.

Анфиса правой рукой рвала на горле высоко застегнутую на мелкие пуговички блузку. Когда-то это была парадная блузка, да прохудилась под мышками, латаная, перешла в рабочую одежду, а крохотные пуговички-жемчужинки на воздушных петельках остались и теперь, вырванные с мясом, сыпались на пол дробным драгоценным дождиком...

— Марфа! Скорее за доктором! — закричал Еремей Николаевич.

Сноха оторвала младенца от груди; тот, недокормленный, капризно заплакал, разбудил Ванятку и Васятку, к которым его положили в манежик.

— Зови! — перекрикивал Еремей Николаевич плачущих детей. — Всех зови!

Марфу тоже испугал вид свалившейся бесформенной грудой Анфисы Ивановны, хрипло дышащей, царапающей горло. Ноги у свекрови были широко раскинуты, юбка задралась, обнажив пухлые колени. Голова запрокинута, платок сполз, рот широко открыт в мучительном оскале, и видны пустые провалы в местах потерянных зубов.

Анфиса Ивановна всегда была крепкой, сильной и вынос-

ливой. Она никогда не жаловалась на здоровье и терпеть не могла, если другие ныли по пустякам. Анфиса Ивановна говорила, что здоровым еще никто не умер, к смерти все больные телом, но если по каждому «кольноуло», «стрельнуло», «заныло» тревогу бить, то больным не только умрешь, но и остаток жизни проведешь. Анфиса Ивановна была опорой, столпом, на котором покоились благополучие семьи и судьба каждого из ее членов. Не было ни одного признака, ни одного предвестника того, что столп рухнет, свалится – Анфиса Ивановна казалась вечной. Поэтому Еремею Николаевичу и Марфе было страшно увидеть ее беспомощной, безобразной, с раскоряченными ногами, гнилыми зубами и растрепанными волосами.

Их ужас передался остальным, когда Марфа выскочила на улицу с криком:

– Горе! Ой, горе!

Если не считать воплей Марфы во время родов, то можно сказать, что невестка Анфисы Ивановны никогда не повышала голоса, никто не слышал от нее громко сказанного слова, окрика или восклицания. Крупная телом, Марфа была тиха и незаметна.

Прасковья хлопотала в летней кути, и первой мыслью ее пронзило – беда случилась с детьми. Быстрее птицы Прасковья метнулась в дом.

Василий Кузьмич занимался с Нюраней в амбулатории. Несколько недель назад Степан привез анатомический атлас

и учебник по кожным болезням – то, что удалось найти в Омске. Обе книги были проиллюстрированы такими картинками, что доктор и его ученица посчитали за благо не посвящать Анфису Ивановну в суть своих занятий.

– Скорее! Она! Горе! Ой, горе! – частила Марфа.

– Кто «она»? – недовольно посмотрел Василий Кузьмич поверх очков. – Ты чего блажишь, как юродивая?

Марфа не успела ответить. Нюрания сообразила:

– Мама! С мамой плохо! – и бросилась к выходу.

Марфа, понимая, что словами ничего объяснить не сможет, схватила доктора в охапку и поволокла на улицу.

– Пусти, дура! – кричал Василий Кузьмич. – Ты мне ноги переломаешь!

Но Марфа не слушала, волокла его, брыкающегося, к дому. Доктор счел за благо поджать ноги и был внесен в избу на руках.

Там уже собрались все: Прасковья, Нюрания, Петр, работники Аким и Федот. Еремей Николаевич, поправив жене юбку, гладил ее по коленям и приговаривал что-то ласковое.

Анфиса Ивановна, хрипло дыша, смотрела на мужа с неприкрытой жгучей ненавистью. Она подняла голову, обвела взглядом собравшихся домашних, остановила взор на Марфе...

Марфа отшатнулась, как от удара, схватилась руками за лицо. Показалось, что свекровь не взглядом, а кинжалом ее полоснула, до крови располосовала.

Анфиса закрыла глаза и повалилась на бок.

– Расступитесь! – скомандовал доктор. – Что вы тут сгрудились? Ей воздух нужен!

Всем было страшно и хотелось помочь, действовать.

Аким, желая дать хозяйке воздуха, недолго думая, подошел к окну и вышиб раму наружу. Следом Федот подскочил к другому окну и саданул кулаками по стеклу, мгновенно окрасившемуся кровью.

– Вы мне тут шекспировские страсти! – визгливо закричал доктор. – Все вон! То есть в сторону! Молча-а-ать!

Василий Кузьмич прекрасно понимал, что значит для семьи потеря Анфисы Ивановны. Да и для его благополучия тоже.

– Петр? – оглянулся Еремей Николаевич. – Где Петр? Нюрня!

Отец вспомнил о младшем сыне, которого любой испуг мог довести до судорог, а общий страх – и вовсе рассудка лишить.

Петр стоял у божницы, мелко тряся, его обычное гыггание было судорожно беззвучным.

Умница Нюрня подошла к нему, обхватила за талию, положила голову на грудь:

– Ой, братка, страшно мне! Обними-ка меня крепко, защити-ка свою сестричку... Ой, кто меня-то несчастную да ухоронит?..

Она причитала, подражая говору и интонациям Туси, рас-

сказывающей сказки про несчастных девушек. Те девушки были глупыми и беспомощными, лили слезы по каждому поводу. Но на брата Петра уловка Нюрани подействовала. Он крепко прижал к себе сестру, восстановил дыхание и загыкал привычно.

Доктор хлопотал вокруг Анфисы Ивановны, бормоча:

– Пульс... сердечный ритм есть, дыхание... да... Не все так плохо, как вы тут утверждали... Препараты камфары... Несем ее на кровать. Мужики, ети вашу через коромысло! Окна бить всякий может... Хотя при таком шоке... Я сам чуть не обосса... Так и будем стоять? Нюра! Оставь этого гениального дебила, он уже в норме. Пулей за аптечкой!

Петр торкнулся лбом в ухо сестре:

– Спасиб-ка! Ход ферзем.

Нюраня всегда подозревала, что в брате Петре живут два человека: один, глупый, большой, рыхлый гыгыкальщик, укутывает другого – маленького, нежного, очень умного и ранимого.

Хватая без разбора склянки и банки с препаратами и порошками в амбулатории, Нюраня не думала об особенностях натуры Петра. Она удивлялась себе. Конечно, испугалась за маму, до колик в животе испугалась. Но когда тятя выкрикнул: «Нюраня, Петр!» – не раздумывая бросилась к брату. То есть между мамой и братом выбрала беспомощного, которому надеялась помочь. А если бы там был Степан? Если бы между братьями пришлось выбирать? И вообще, у докто-

ра может быть несколько страдающих пациентов. Как доктор решает, кому первому помощь оказывать? Надо не забыть спросить у Василия Кузьмича...

Еремей подхватил жену за плечи, Петр и Аким держали ее за ноги. Поранившийся Федот натягивал рукава рубахи на окровавленные руки и тихо выл, потому что не мог помочь.

– Не ногами! – вдруг пронзительно вскрикнула Прасковья. – Не ногами вперед!

Всем по-прежнему было страшно и хотелось подчиняться приказам, как-то действовать.

– Да какая разница, дикие вы люди! – ругнулся Василий Кузьмич.

Но мужики его не послушали, закружили неловко на месте, чтобы внести Анфису Ивановну в спальню головой вперед. Ватно обмякшая, безучастная Анфиса Ивановна была неожиданно тяжела, на пределе сил дотащили, на кровать уложили. Хотя тут, наверное, дело было не в ее весе, понятно, немало, а в самой процедуре – жену, мать, хозяйку точно раненую корову волочь. Страшились лишнюю травму нанести, о простенок задеть.

Марфа выполняла домашнюю работу, но к свекрови не заглядывала. Еремей Николаевич переселился в комнату доктора. Сноха и муж догадались, что Анфисе их грех открылся.

За Анфисой ухаживали Прасковья и Нюряня. Василий Кузьмич находился при ней неотлучно, стариковским бурча-

нием маскировал свою тревогу.

– Можно подумать, что это у меня главная пациентка в жизни! На склоне лет выпало счастье королеву пользоваться... Хотя, с другой стороны... Ну кто так постель лежащему больному перестилает?! – рывкал он на Прасковью и Нюраню. – Ты собираешься экстерном на сестру милосердия сдать, а не знаешь элементарных приемов!

– Я? – пугалась Прасковья.

– Не ты! Твое дело – детей рожать и мужа любить. Нюраня!

– Дык вы мне еще про уход за лежачими не объясняли!

– Еще один «дык» – и забудь про экстерн, деревня!

Они невольно посмотрели на Анфису Ивановну – в обычной ситуации та не пропустила бы мимо ушей «экстерна». Анфиса Ивановна была безучастна.

– Больного переворачиваем на бок, – показывал доктор. – Сворачиваем простыню старую и подстилаем свежую. Жгутами, девки! Жгутами сворачиваем! Что ж вы такие криво-рукие, я бы таких санитарок на порог... Впрочем, неплохо... Теперь больную переворачиваем на другой бок, простыню свежую под нее... Переворачивать, но не поднимать! Это наука, девушки! Молодцы! В противном случае, работая в госпитале, в первые же сутки вы бы надорвали спины. Во всяком труде должен быть принцип последовательности... Кажется, я выражаюсь на манер ваших Федота или Акима. О чем я? Да! Большинство лежачих больных почему-то много-

тонные, а сестрички – вроде вас, сплошные воздушные миссис и мадмуазели... Это не ругательства! Однажды занесло в наш госпиталь генерала. Случайное осколочное ранение в брюзжейку. Боров! У него брюхо было! По обе стороны кровати свешивалось. Анфиса Ивановна, вы меня слышите? Я рассказываю занятную историю...

Анфиса отворачивалась к стенке и закрывала глаза. За три недели болезни она не сказала и десятка слов. Она перестала разговаривать, отвечать на вопросы, не просила есть или пить, жевала без аппетита что предложат.

Прасковья, когда вышли в горницу, спросила Нюраню:

– «Экстрена» – это чего?

– Ты никому не говори, – попросила Нюраня. – Экзамены сдать без учебы хочу. Василий Кузьмич готовит меня на сестру милосердия. Да только сейчас не до занятий...

Большое хозяйство, оставшееся без начальника в самую горячую пору, сразу же стало лихорадить. Анфиса Ивановна собиралась жить вечно и заместителя себе не готовила. Ее мог бы заменить Степан, чьи способности не уступали материнским. Но он был круглосуточно занят на своей работе, да и управлять единоличным хозяйством противоречило его принципам. Кроме того, верные слову, данному хозяйке, Аким и Федот ни за что не рассказали бы Степану про тайные схроны, зароды и посевы. Сами же работники были всегда только порученцами, неспособными принимать решения и брать на себя ответственность. Поручить командование гу-

бошлепу Петру никому и в голову не пришло. Прасковья и Марфа умели отлично вести домашнее хозяйство, но дальше ворот их практическая сметка не распространялась. Еремей Николаевич находился дома вынужденно, в крестьянском труде участвовал подневольно, всю жизнь его избегал, ненавидел за монотонность — каждый год одно и то же: посадил, собрал, съел, весной снова посадил... Взвалить на себя громадную постылую ношу его не заставили бы никакие доводы рассудка или уговоры. Он сидел бы на воде и квасе, отказавшись от сытных пирогов, обеднел бы без сожаления, лишь бы не впрягаться с полной отдачей в крестьянский труд. Хуже наказания для него придумать было нельзя. Но если ты способен избежать наказания, зачем совать голову в ярмо?

Так и получилось, что на место матери заступила малолетняя Нюраня. В семье привыкли жить под женской волей, сметливая и добрая Нюраня особенно полюбилась Федоту и Акиму за то время, когда они сопровождали ее на супрядки и на репетиции комсомольского спектакля. Нюране все помогали, что могли, подсказывали, но это все-таки был непомерный груз для молоденькой девчонки. Она всю жизнь видела, как мама руководит хозяйством, из года в год почти одни и те же приемы и команды. Но это «почти» было настолько важным, что любая ошибка грозила большими потерями, лишениями, даже голодом зимой.

Василий Кузьмич как мог старался облегчить участь сво-

ей любимице.

Он расхаживал у постели Анфисы Ивановны, размахивал руками, то повышал голос, то понижал до шепота:

– Сердечный ритм восстановился практически в пределах нормы, и боли у вас отсутствуют. Это мне понятно совершенно! Не пытайтесь тут изображать!

Анфиса Ивановна ничего не изображала. Лежала безучастным бревном, в потолок смотрела.

– Да, у вас был сердечный удар, выражаясь народным языком. Эка невидаль! Да люди по пять таких ударов переносят! Ну, или по три... Кстати, по деревне ползут слухи, будто у вас после удара мозги отшибло и речь пропала. – Василий Кузьмич остановился и посмотрел на пациентку: взбудоражат ли ее сплетни? Не взбудоражили. – Речь у вас никуда не пропала, и мозг в плане физиологии совершенно не пострадал. Это я вам говорю как врач. Следовательно? – спросил себя Василий Кузьмич и присел на кровать к Анфисе. – Следовательно, мы должны констатировать наличие перед сердечным приступом или в момент его сильнейшего психологического раздражителя какого-то потрясения. Анфиса Ивановна, голубушка! Слуга покорный! Я не прошу вас рассказать, что именно случилось, что вас потрясло. Я только хочу вас вернуть к нормальной жизни. Скажу больше, грубее и циничнее. Хотите вы помирать в отрешенном молчании? Такова ваша воля? Подло! Архиподло! Не нужно было столько лет свое семейство на коротком поводке держать, чтобы вот

так в одночасье бросить. Эти люди не обязаны страдать, потому что какая-то крыса вас за задницу укусила.

Услышав про крысу, Анфиса Ивановна повернула голову и внимательно посмотрела на доктора. Он постарался скрыть свое удивление: при чем тут крыса, почему ее крыса заинтересовала? Эти животные по двору Медведевых и тем более по дому не бегали. Как бы то ни было, успех следовало развить.

– Я вас призываю к элементарной материнской жалости! Анфиса Ивановна, вы же, по сути своей, мать, с большой буквы, всему и вся... даже мне... в каком-то смысле. Но особенно! Подчеркиваю! Особенно тяжело приходится вашей единственной дочери. Нюраня удивительная, одаренная... Вы своим примитивным умом не способны понять, какое сокровище родили и воспитали! А сейчас что мы имеем? Девочка спит по три часа в сутки. Хозяйство трещит по швам. Телята не дотелились или не донерестились?.. Это, кажется, про рыбу... Которая тухнет! Двор провонял. На зимнюю кожаную одежду напала плесень, всякий там лен и конопля промочились, пшеничная мука кончилась, кормят шанежками-дранежками...

Василий Кузьмич тараторил, прискорбно видя, как гаснет интерес в глазах Анфисы Ивановны, и вот уже снова в них равнодушная безучастность. Повернулась к стенке, давая понять, что разговор закончен.

– И пожалуйста! – воскликнул доктор. – Нашлась тут! Си-

мулянтка! Девочка к ней прибегает: «Мама, как то, как это?» Трудно рот открыть? Салтычиха! Тиранка! Сейчас пойду и напьюсь. Медицинского самогона. Потому что другого уже нет. Где это видано, сибирская королева, у тебя в доме даже самогона нет!

Первые дни, когда терзала боль, Анфисе было в некотором смысле легче. Боль не давала мыслям плодиться. Боль виделась крысой, захватившей острыми зубами сердце. Когда доктор вводил лекарства, крыса получала уколы в лапы, в спину или в зад. Крысе приходилось огрызаться, разжимать пасть, в которой меж зубов застряли ошметки Анфисиной плоти,лизывать раны. Боль Анфисы становилась слабее, хотя и не проходила полностью. А потом докторские лекарства вовсе крысу убили, растворили, и боль постепенно погасла.

Степа рассказывал про кинематограф – бегущие фотографии. Вечно городские выдумают всякую ересь. Но ее полусон-полубодрствование был именно как сменяющие друг друга живые картинки. Сначала про крысу, потом как доктора приютила – сама виновата, без доктора греховное отродье на свет не появилось бы. Мама и папа виделись, молодыми и как умерли, когда их нашли сплетенными, рождение Петьки – уронила-таки его Минева, не призналась, а стукнула сыночка темечком об угол кровати пьяная дура, она же на роды Анфисы со свадьбы была вызвана. Картинки всплыва-

ли из старой жизни, но теперь как бы с другого угла увиденные. Некоторые касались важных событий: как наследство родительское делили, как быка Буяна купила, выхаживала, он сполна за заботу отплатил, как с омским барышником познакомилась и коммерцию наладила... Другие картинки были несущественными, но празднично раскрашенными: венчание с Еремой, Степушка полуторагодовалый, в батистовую сорочку одетый, в гости к свекрови собирались, портки Степушке не успели натянуть, удрал, по двору на нетвердых ножках топает, елду свою крохотную в кулачок зажал и ссыкает, и ссыкает, из стороны в сторону поливает, и твердит на непонятном детском что-то вроде: «Я вас всех...»

Еще лесные картинки возникали. Сын, калеченный умом Петр, больше всего любит рыбу удить. Не отпускала без пригляда Петра на воды, страшилась. Она же сама любила грибы собирать. Если бы сложилась так жизнь, что спросили бы Анфису: «Чего тебе для сердца более всего мило? Все твои заботы-труды по высшему классу кто-то другой станет делать, а ты чем душу утетишь?» – ответила бы: «За грибами ходила бы». После замужества, как хозяйство на себя взвалила, и сходила-то в лес – пальцев на одной руке хватит сосчитать. Недосуг настоящей управительнице лесными забавами тешиться.

Картинка из старой жизни: близнецами была беременна... Нет, уже, наверное, Степушкой. Улучила момент, в ближний лес отправилась. И открылась ей поляна чуждая! Потом еще

раз или два туда приходила – не повторилось. Белые грибы разномастного калибра: от великанов, расправивших шляпки, до упругих крохотулек, а между ними красноголовики, тоже разновозрастные, – всего больше трех сотен. Сказочная грибная поляна казалась не настоящей, а будто шутником-чародеем сотворенной. Коротко ахнув, Анфиса бросилась собирать грибы и все кричала на пса Полкана, который увязался за ней в лес, чтобы не топтал добычу. Две большие корзины за несколько минут наполнила, на пенек присела отдохнуть. Поляна теперь выглядела совсем по-другому, то есть обычно. Анфиса подумала, что собирала грибы в лихорадочной спешке, точно воровала или боялась, что кто-нибудь появится и составит конкуренцию. На несколько верст вокруг в лесу не было ни души. Муж Ерема так бы не поступил. Он бы уселся на пенек и долго любовался волшебным видом полянки. В этом-то между ними, супругами, и разница.

Живые картинки не просто сменяли друг друга. Они были словно нарисованы акварелью на стекле, и перед тем как появлялась новая картинка, старая водой смывалась, текла вниз мутной разноцветной жижей. Так и Анфисина жизнь утекла.

Большую часть жизни Еремей провел на отхожем промысле, и Анфиса не была столь наивной, чтобы тешить себя надеждой, будто он хранит ей супружескую верность. Бывает,

что муж жену любит истово, а черт его попутает, и согрешит мужик, сильно потом кается. Еремей никогда пылко Анфису не любил, она его сама на себе женила, надеялась, что прирастет он к ней. Не прирос, жизнь его где-то протекала, а дома повинность отбывал. У Еремея глаза добрые и ласковые, он смирный и непьющий, жалостливый. Что еще бабам надо?

Перебесившись от ревности и тоски в молодости, Анфиса решила для себя, что все, что случается у Еремея на чужой стороне, – это ненастоящее и значения не имеет. Анфисин мир за околицей заканчивался, семья, дом, хозяйство – центр мира. Уезжала она из села редко, с неохотой и только по большой надобности. Все, что происходило в дальней стороне, не имело к ней никакого отношения, интереса и заботы не вызывало и поэтому было сброшено со счетов. Иное дело, когда Еремей возвращался домой. Попробовал бы он на другую бабу посмотреть или какая–нибудь лохудра стала бы ему куры строить!

Анфиса никогда не спрашивала себя, за что полюбила Еремея. Она вообще не задавала себе вопросов. Она либо знала ответ, который не всегда словами могла выразить, а только чувствовала, либо ответы сами собой приходили позже. Почему Еремей стал ее судьбой? Потому что родилась она бешено гордой и честолюбивой. Ей не подходил богатый суженый, богатство – дело наживное. Не глянулись рубаха-парни, отчаянные смельчаки и красавцы. Эти напоминали боевых петухов, все петухи рано или поздно оказыва-

ются в супе. Ей нужен был кто-то необыкновенный, особенный. Доктор Василий Кузьмич говорил о Еремее: громадного художественного таланта человек. Этот талант, бесполезный как в семейной жизни, так и в хозяйстве, Анфису и сгубил.

Она много лет давила в себе страсть к мужу. Со стороны казалось – ненавидит его, презирает, ведь постоянно шпыняет, ругает, обвиняет в глупости, в лени, в безалаберности. Она столько лет взращивала в себе равнодушие к мужу, что не заметила, как то выросло и окрепло, как ее страсть превратилась в свою противоположность, и теперь ее внешнее презрение ничего не маскировало, а было совершенно искренним.

Когда читали «Анну Каренину», сцены, где Анна изводила Вронского, доктор сказал: «Есть такая французская поговорка: ревность рождается вместе с любовью, но умирает гораздо позже». Точно замечено. Если бы Еремей изменил ей, когда был горячо любим, это как-то вписалось бы в игру страстей. Анфиса метала бы молнии и становилась от этого только сильней, громоподобнее. Но теперь, когда он – презренный? Есть ведь разница, кому проиграть в бою – молодому сильному противнику или дряхлому старикашке-инвалиду. Любое поражение – удар по честолюбию, но поражение от снохоря (так презрительно у них называли мужиков, что клали глаз на жену сына) – удар сокрушительный. Подобных ударов Анфиса переносить не умела. Точно ей дали в руки

книгу и велели читать, а на страницах – китайская грамота, в которой Анфиса ни бельмеса.

Она лежала пластом, ничем не интересовалась, ни с кем не разговаривала. Ее прежняя жизнь стерлась, а новая еще не выросла. Анфиса не чувствовала ненависти к Марфе. Ну что Марфа? Рабочая лошадь, несчастная баба, привалило ей забрюхатеть и родить – единственный светлый лучик в судьбе. Да и к мужу, главному виновнику непотребства, Анфиса не испытывала жажды мести. Он спалил ее жизнь – надежды, планы, стремления. Остались только головешки. Но что толку проклинать идиота, не умеющего обращаться с огнем? Главный интерес – к хозяйству, накоплению богатства, созданию достойных условий жизни для семьи, поддержанию авторитета одной из самых мудрых и успешных женщин – как отрезало. Отпустило давнее желание наставить на путь истинный Степана. Пусть живет как хочет, по указке счастлив не будешь. Не жалко было Нюраню, которая надрывалась, спасая урожай и приплод скота, обеспечивая зимовку. Дочка почти баба, а у деревенской бабы безмятежной жизни не бывает. Справится кое-как, а не справится, так и леший с ними.

Душа Анфисы была как выжженное поле – ни росточка, ни одного желания, стремления, ни одной причины для того, чтобы подняться и продолжать существовать. Потом вдруг пробился росточек. Ядовитого растения. Митяй, плод греха, зримое свидетельство крушения ее судьбы. Еще несколько

дней назад Анфиса тряслась над мальчишкой, которого считала своим внуком, наследником. А сейчас его плач или задорные крики, доносившиеся из горницы, вызывали толчки крови в опавших венах. Кровь была смешана с ядом.

Если бы Анфисе сказали, что она тронулась умом, не стала бы возражать. Пусть тронулась, мой ум – не вашего ума дело. Она лелеяла идею, настолько страшную, что порой, лежа в темноте, улыбалась ее невозможности и чудовищности: как такое христианке только в голову может прийти?! А вот поди ж ты, пришло, и растет, и крепнет, и наполняется губительными соками.

Анфиса села, опираясь руками о край кровати, переживая головокружение. Встала, подошла к зеркалу. Мутное отражение какой-то незнакомой седой бабы. Анфиса показала ей язык, усмехнулась и на секунду потеряла равновесие. Качнулась, ухватилась за столик, с которого упал медный кувшин.

На шум прибежали Прасковья и Нюраня.

– Мама! – подскочила дочь и придержала за бок.

– Слава тебе, Господи! – перекрестилась невестка.

– Баню затопите, – велела Анфиса, – белье мне чистое приготовьте и всю одежду. Провоняло.

Был поздний ужин после тяжелого трудового дня. Но когда Парася выскочила из родительской спальни со словами: «Мама поднялась! Баню просит!» – все подхватились и засуетились.

Анфиса видела улыбки на лицах сыновей, доктора, Марфы, мужа и работников, видела, как глаза их засветились надеждой и простой искренней радостью от того, что сильный, могутный человек расправился с болезнью, возвращается к жизни. Анфису их радость оставила безучастной. Прежде она делила людей на своих и чужих, на весь мир и семью. Теперь семья примкнула к миру.

Коммерция

Вернувшаяся на руководящий пост в хозяйстве Анфиса уже не была той генеральшей, которая держала свое войско в строгости, вникала в каждую мелочь, военачальницей, без одобрения которой никто не мог и шагу ступить, которая яростилась по любому поводу, и гнева ее старались избегать. Туго натянутые командирские вожжи ослабли, и домашние этому не обрадовались – хорошие работники и настоящие труженики предпочитают подчиняться власти сильной руки мудрого человека. Глупый или вздорный руководитель нужен только лентяям.

С другой стороны, то, что происходило в доме Медведевых, было естественно. Этот процесс не миновал ни один крепкий сибирский дом. Глава семейства к положенному сроку хирел телом, истощался умом, не мог, как прежде, тянуть большой груз хозяйских забот и ответственности. Его на словах признавали главой рода, выказывали почтение, но это была вековечно хранимая игра в авторитет старших. Бывало, старику или старухе везло – они до смерти передвигались на собственных ногах, сохраняли разум, восседали на почетных местах за праздничным столом со значительным выражением лица. Но случалось, что смерть долго не приходила, а частично парализованное тело уже не слушалось, и в голове у патриарха было бедней, чем в голове малого ребен-

ка. Тогда только одна участь – лежать на печи, пускать слюни, смотреть из-за занавески на то, что происходит в доме, смотреть и не понимать. Подобной участи все страшились. Просьба к Богу в молитвах: «Пошли мне кончину легкую и быструю!» – была у сибирских стариков в обиходе.

Анфиса о легкой смерти не молилась. Ее час еще не пришел. Кабы маячил, почувствовала бы. В чужую могилу не ляжешь, то есть раньше времени не умрешь. Однако силы былые утекли безвозвратно. Ничто на земле не вечно: береза и сосна живут до ста лет, ель – до трехсот, дуб может простоять восемьсот. Человеку отпущено меньше, но никому и ничему не суждено пребывать вечно. Случись с Анфисой десять, пять лет, полгода назад тяжкая травма, например хребет сломала бы или шею свернула и лежала бы пластом, – она бы волком выла и кусала от злости все, что ко рту близко окажется. Теперь же она была как те береза, сосна, ель или дуб, в которых замедлилось движение соков, и нутро сохло, теряя гибкость, и выбрасывать новые почки, листочки распускать было тяжело, а главное – неинтересно.

Сердечный удар и внезапное открытие греха мужа и невестки были как пласт гранита, свалившийся на Анфису. Он не просто сломал ветки старого дерева, он еще врезался глубоко в землю, разможил корешки, которыми дерево питалось. Однако натура Анфисы была настолько мощной, что никакая буря не могла ее убить. Буря с диким ветром валит тысячелетний дуб, а весной, глядишь, потянулись из земли

новые побегии...

Первый росточек, проклюнувшийся, еще когда она лежала хвора и безмолвная, — это неуправляемая ненависть к выродку Митяю. Второй росточек — забота о наследстве, которое оставит. Не могла Анфиса от дела своей жизни враз отстраниться. Хотя внешне, казалось, так и происходило: спросят, куда коноплю свозить, где рожь молотить, кому лен на обработку везти, — ответит; не спросят — сама не скажет.

Анфиса решила нажитое богатство обратить в золото-металл. Вечная ценность, при хороших мозгах и справных руках большую силу может иметь. Будут ли у Ванятки и Васятки хорошие мозги и справные руки — ей не увидеть, не дожить. В каких «исторических обстоятельствах» (так Степка говорил про царившие в последние годы беззаконие и грабеж крестьян) внукам предстоит жить, предугадать невозможно. Она сделает для внуков все, на что пока способна. Как распорядятся — их воля, не Божья.

Анфиса часто произносила слова «на то Божья воля», когда хотела избежать бессмысленных разговоров, досужих советов. Однако в сознательное и постоянное участие Верховного Судии в мирских делах она не верила. Анфиса воспринимала Бога как могущественного владыку, старого и уставшего от бесконечных молений и просьб, с которыми к нему обращались каждую секунду тысячи и тысячи людей. Какая канцелярия выдержит подобный поток челобитных? Бога хватало только на то, чтобы освятить рождение человека

(принять его в христианство) и смерть (отпустить грехи). В остальных делах Бог, как разумный и опытный начальник, ждал от людей, что они будут жить собственным умом, Он ведь их создал по Своему образу и подобию. Чего вам, людишки, еще надо? Недаром говорится: на Бога надейся, но сам не плошай.

Вызванного письмом из Омска барышника Анфиса принимала не дома в горнице, а в амбулатории, где стол застелили дорогой скатертью, угощение принесли знатное и сервиз подали парадный.

– Извиняйте, Савелий Афанасьевич, – развела руками Анфиса. – Перед зимой тараканов в доме травим, да еще болезнь детская, красная-летучая, по деревне гуляет, а у меня внуки. Взрослые тоже заражаются, детки-то выздоравливают, а взрослые – до смертельного исхода.

На самом деле никаких насекомых не травили, и краснухи у них в селе не было. Анфиса много лет вела успешные дела с барышником, но им морговала (брезговала), поганить свой дом, принимая этого человека, не хотела.

– Я, Анфиса Ивановна, при всем понятии! – мелко закивал барышник. – Как у вас нынче урожай?

Они довольно долго разговаривали на отвлеченные темы – того требовал ритуал. При этом оба старались не показать, как их поразили внешний облик собеседника.

Савелий Афанасьевич видел Анфису Турку, с которой вел

успешный бизнес, всего три раза, последний – два года назад. Тогда это была цветущая деревенская баба, немолодая, но в ядреном соку. Держалась она королевой и так умела торги выкрутить, что ты оказывался ей благодарен за минимальную уступку. Теперь перед ним сидела усталая морщинистая старуха. Отгоняя муху, прилетевшую на мед, неловко задела свой плат, низко, до лба надвинутый, – обнажился висок с седыми волосами...

Анфиса Ивановна, в свою очередь, каменела лицом, чтобы не выказать удивления от того, как изменился барышник. Когда познакомились, это был пухлый коротышка: щеки глаза плющили и носик-пипочку сдавливали, живот шариком выкатился, ручки коротенькие, кисти детские и пальчики игрушечные. Руки Савелия Афанасьевича – скряги, скупердяя – тогда Анфису более всего поразили. Это были не мужские руки, а точно какого-то животного ластоногого, из вонючих недр вылезшего. Указательный палец меньше ее, Анфисиного, мизинца. Савелий Афанасьевич в разговоре пальчиками в воздухе крутил, в замок складывал, на живот пристраивал – Анфису тошнило. Сейчас перед ней сидел человек, потерявший не меньше двух пудов – с обвисшей серо-желтой кожей на лице, превратившемся в карикатурную маску унылого брюзги из-за того, что уголки беззубого рта-щели съехали вниз до подбородка. Пальчики остались такими же крохотными, но кожа вокруг косточек («в кисти тридцать косточек» – вспомнила Анфиса рассказы доктора) сморщилась и

скукожилась, напоминая давно не стиранные льняные персятки.

Переговорщики вели неспешную беседу, Анфиса Ивановна потчевала гостя домашними яствами, Савелий Афанасьевич клевал как курочка, но нахваливал угощение, и каждый из них мысленно перестраивал стратегию, исходя из того, что партнер дурно выглядит.

Анфисе не требовалось свой дар вызывать, чтобы понять: Савелий Афанасьевич не жалец. Передавая чашку с чаем на блюде, случайно коснулась его руки, и точно кто-то ей в ухо шепнул: «Полгода, не больше». Выгодно или хотя бы без большого проигрыша обратить в золото добро, накопленное Анфисой и поступающее именно сейчас с полей и от верных промысловиков, за полгода было невозможно. Даже если у барыги есть запас драгоценного металла на оплату товаров Анфисы, он будет последним дураком, если всё спустит. Значит, нужно так повести переговоры, чтобы барышник от жадности голову потерял, возжелал все заграбастать и заплатил бы вперед. Что будет с продуктами и вещами, Анфису не волновало, пусть хоть сгниют, ей главное – золото получить. Афанасия Савельевича надо было крепко подсадить на крючок и при этом скрыть, что других поделщиков у нее нет, искать их опасно, хлопотно, да и недосуг.

Савелий Афанасьевич, в свою очередь, надеялся, что внешне изменившаяся, зримо постаревшая Анфиса Ивановна и умом ослабла, ее можно легко обвести вокруг пальца.

Надеялся и просчитался.

Когда ритуальные вступительные разговоры закончились, перешли к делу, и Турка выдала ему свой план – обратить в золото, в песок или в слитки, свое богатство, – Савелий Афанасьевич затрепыхал, как бы сочувственно. Болтающая кожа на лице и руках его немужских дергалась так противно, что Анфиса не сумела скрыть гримасу отвращения. Но эта гримаса оказалась удачной реакцией на речи барышника. Он говорил, что, мол, золотодобытчиков-кустарей сейчас к ногтю прижали, а с другой стороны, драгоценный металл в цене упал из-за невозможности его реализации, золото как форма оплаты нынче не в ходу. Это были чистой воды враки, только золоту вера и осталась.

– По вашему обличию, любезная Анфиса Ивановна, замечаю, что с недоверием вы к моим словам относитесь.

– Зубами маюсь который день, вот и косорылюсь. Как же я могу вам не доверять после стольких лет успешной коммерции? Да и не из тех вы, Савелий Афанасьевич, варнаков, что на бедной женщине наживаются. Верно?

Под пристальным взором Турки Савелий Афанасьевич заерзал, глазки у него забегали. Верно, что она бедная женщина? Или верно, что он не наживается на чужом горе? И то и другое не соответствовало действительности. Но барышник закивал:

– Истинно так, Анфиса Ивановна. Много лет ведем мы успешный бизнес.

– Чего ведем?

– Слово такое иностранное – «бизнес». Обозначает коммерческие дела во всей широте.

– Не люблю я чужеземных придумок, лучше по-старинному: честно и благородно дело вести. Вот тут я список составила, – протянула ему Анфиса Ивановна листок. – Против каждой позиции цена проставлена. Вы меня знаете: торговаться не терплю, но цену никогда не задираю, даю справедливую.

– Знаю, знаю, – бормотал Савелий Афанасьевич, напяливая на нос очки.

Он сразу увидел, что Турка проставила цены божеские, крайне привлекательные и с не принятой ныне купеческой честностью. Например, цена за кедровые орехи нынешнего урожая (еще не поступившего) была на тридцать процентов больше цены на орехи прошлого года и вполтину меньше на позапрошлогодние орехи. Запасы же у Анфисы Ивановны, судя по списку, были немалыми. Припасливая баба. Савелий Афанасьевич подобной щепетильностью не отличался. Он сразу смекнул, что если орехи перемешать, свежие со старыми, прогоркшими, то навар получится изрядный.

Кедровые орехи в Сибири были таким же лакомством, как семечки подсолнечника в Расее. Их лузгала детвора, молодежь на посиделках, вечерках, бабы, сидя на лавочках, сплетничая, мужики за неспешной беседой. Орешками угощали друг друга, доставая горсть из кармана и насыпая в

подставленную ладонь собеседника; орешки сопровождали любой момент досуга. После революции, когда к культуре потянулись широкие народные массы, в Сибири, равно как в Расее, в театрах и музеях приходилось вешать таблички «Курить и лузгать семечки запрещается!» В сибирских городах продавали орешки на каждом углу большими и малыми чарками по мизерной цене. Но копейки от продажи капля за каплей стекались в большой навар, и шишкобои отправлялись в тайгу за кедрачом во все годы исторической сумятицы.

Водя пальцем по строчкам составленного Анфисой списка, барышник раскраснелся, внутренне затрепетал и уже не казался обреченно больным. Ничто не могло подействовать на него так возбуждающе, как грядущая большая выгода.

«Я-то хоть заради потомков пекусь, – думала Анфиса, – а ты чего трясёшься?»

Она знала, что близких, свое семейство, барышник держит в черном теле, ходят они в обносках, питаются впроголодь. Почему барышника родные дети до сих пор не удавили, Анфисе было непонятно. Ведь гребет и гребет под себя паук, складывает, прячет, а они, сорокалетние, с детьми на выданье, хуже батраков перебиваются.

У них в селе жил дед Влас. Анфисе было лет тринадцать, когда Власа утопили его же сыновья. Как бы на переправе несчастье случилось: лодка перевернулась, сыновья выплыли, а отца не сумели вытащить. Никто не верил, и мало кто

сыновей Власа осуждал. Потому что Влас был скупердяем. Все копил, складывал, хвастался налево и направо закромами, а жена, дети и внуки были одеты заплатка на заплатке, спали на матрасах, набитых соломой, помоями питались. С другой стороны, убийство главы рода не принесло Власову потомству счастья. На них косились, от дружбы уклонялись, сыновья с женами, деля наследство, переругались в хлам, а зажив отдельными домами, не смогли хозяйство наладить, так и выродились.

Детям Савелия Афанасьевича недолго ждать осталось. Может, и хорошо, что не взяли грех на душу. Может, и отыграются за годы нищенствования, если, конечно, сумеют правильно распорядиться всем тем, что паук нагреб.

Барышник снял очки и принялся нервно потирать руки, точно у него чесались пальцы.

– Доложу я вам, любезная Анфиса Ивановна, многоватенько у вас припасено.

– Что Бог послал нам за труды честные и праведные.

– Да, да, конечно! Однако в таких объемах...

– Цены вас устроили?

– В общем, да, но в частности! Вот на солонину и зерно...

– Лето дождливое было, – перебила Анфиса, – к весне эти цены втрое возрастут.

– Понимаю, понимаю, однако же...

Барышник не мог не торговаться. От снижения закупочной цены хоть на копейку он получал такое же удовольствие,

как от миллионной прибыли.

Анфиса устала от его присутствия, она теперь вообще быстро уставала. И наваливалось равнодушие, точно накрывало душной периной, из-под которой выбираться не хотелось. Все становилось безразличным: хозяйство, будущее внуков, коммерция, торги, золото, которым она никогда не воспользуется. Даже в баню не тянуло, хотя баня – лучшее средство от усталости и хандры.

– Еще чаю? – спросила Анфиса с тем выражением лица, с которым ждут вежливого отказа. – Меду дикого лесного накачали, успели до дождей. Ароматный нынче мед. Пчела как чувствовала, что боле сбора не будет. Распоряжусь на-счет самовара?

Савелий Афанасьевич занервничал и быстро заговорил:

– Благодарствуйте, отчаевничал знатно. Тут вот еще какой аферт. Не возьмете ли изделиями драгоценными? Сережки, браслеты, кольца с камнями – все высокой пробы и без фальши.

– Откуда у вас?

– Не желал бы раскрывать источник...

– Лучше золото по весам, так привычнее. Весы сверим, муж мой калибрует отменно.

– Хорошо, признаюсь. Завелся у меня приятель, точнее, знакомец, при власти военной, в омском ОГПУ главное лицо, они там экспроприируют... Позвольте, ведь он ваш земляк! Данила Егорович Сорокин...

– Не земляк, Сорока из переселенцев. Выжига и варнак.

– Возможно. Но благодаря ему мой бизнес значительно расширился и получил защиту от лица государственного. Да ведь и ваш старший сын, Анфиса Ивановна, состоит при власти.

– Мой сын к моим делам некасаемый! – резко проговорила Анфиса. – Запомните это крепко!

Мгновенно вспыхнув, она как будто зачерпнула где-то сил для участия в дальнейшем торге.

– Как скажете, – покорно поднял свои детские ладошки барышник.

Он внимательно наблюдал за реакциями Анфисы Ивановны и решил, что она польстилась на экспроприированные, а попросту отнятые, ворованные, с мертвых снятые дорогие украшения. И снова просчитался.

– Возьму ваши побрякушки по весу золота, – словно милость объявила Турка.

– Но позвольте, камни драгоценные совсем другую стоимость имеют!

– Кто сейчас ожерелья, кольца с изумрудами да сапфирами носит? Однава лежать им до лучших времен, если те наступят. Сейчас они у вас в сундуке зарытом покоятся, потом ко мне перекочуют и так же зарыты будут. Заместо этих побрякушек вы получите товар, продовольственный и вещевой, который у вас оторвут с руками и который принесет в три раза больше стоимости. Вот вам мое последнее предло-

жение при условии... – Анфиса надела очки, пододвинула к себе листок с перечнем товаров и стала зачеркивать против каждой позиции цену, незначительно ее уменьшая.

– При условии?... – до заикания возбуждился барыга.

– Плата вперед. Пока дороги не развезло, что-то вывезем, обратным ходом вы мне полную стоимость передаете. Далее по зимнику мои работники станут отвозить в Омск в том порядке, как вы скажете, как успеете склады подготовить. Риска у вас никакого, мое слово вы знаете – крепкое. Расплатитесь – хоть враз забирайте, нанимайте обозы, сами вывозите.

– Это опасно. И почему такое условие – плата вперед?

– Потому что цена бросовая, – отрезала Анфиса.

Их сделка не была скреплена подписями под договором. Они взяли по листку чистой бумаги и тайнописью переписали прейскурант, сверили написанное. Первый листок, где безо всякого шифра значились зерно в пудах, масло в фунтах, мясо и рыба в килограммах и еще полтора десятка наименований, Анфиса порвала на клочки и положила в карман, чтобы потом бросить в печь. Снова предложила чаю, барыга опять отказался. Попросил о другом.

– Говорят, у вас доктор хороший квартирует и прием ведет.

– Кто говорит?

– Люди.

– Мелют языками. Доживает век старик, пригрела Христа ради.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.